

№10

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

08|24

НАТЕ

рассказы



18+
содержит
нецензурную брань

№10

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

08|24

НАТЕ

рассказы

18+
содержит
нецензурную брань

Главный редактор: Мария Тухто

Редакционная коллегия:

Юлия Афонина

Ирина Бондырева

Ада Насуева

Александра Сусллова

Дизайн обложки:

Светлана Подаруева

Иллюстрации:

Анна Боронина

Лиза Ермакова

Вика Левотаева

Виктор Лукьянов

Светлана Подаруева

Верстка: Мария Тухто

Контакты:

Прием рукописей: nate.lit@mail.ru

Сотрудничество: nate.lit.collab@mail.ru

Сайт: <https://natelit.ru/>

Мы в социальных сетях:

https://t.me/NATE_lit

Boosty: <https://boosty.to/glavvred>

Поддержать проект: <https://pay.cloudtips.ru/p/39896291>

Рукописи не рецензируются.

Мнения автора и редакции могут не совпадать.

При перепечатке текста ссылка на журнал обязательна.

Оглавление

Алла ВЕЛЬЦ: Повышенная облачность.....	7
Ева ВЕРУШ: Забыла	16
След	19
Анна ЗИНОВЬЕВА: Я иду тебя искать	23
Екатерина ПЕРФИЛЬЕВА: Мусорный ветер.....	32
Мерген ДОРАЕВ: Ave Lenin	43
Елена БОНДАРЕНКО: Рассыпался горох по сто дорог	46
Ксюша ВЕЖБИЦКАЯ: Курица или яйцо?.....	55
Алла ЛЕОНОВА: Сорок	65
Яна ДВОРЕЦКАЯ: Жирная	71
Анастасия НАПРИЕНКО: Потьмы	102
Дарья КАРГИНА: О любви и шубе	107
Женя СКОБИНА: Лавовый король.....	112



По образованию лингвист и режиссер. Много лет посвятила фотографии, сейчас занимаюсь съемкой документальных фильмов.

Училась в сценарной лаборатории Anomalia (Чехия) и в мастерских литературных школ Creative Writing School и Band.

Участник лонг-листа конкурса «Книгуру» и премии издательства «Рипол-классик».

Финалист конкурса сказок Литературного института им. Горького и фестиваля короткого рассказа «Кора» (2021).

Публиковалась в журналах «Дактиль», «Формаслов» и литературном проекте «Что я знаю о папе?»



7

ПОВЫШЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ

Шорох ветра, гоняющего мелкий мусор по улице, был похож на шепот дождя. Он приоткрыл глаза и поймал почти забытое ощущение: одеяло приятно давит на плечи, за шторами шумит дождь, в комнате темно, никуда не надо идти и можно снова заснуть. Так часто бывало в детстве, с тех пор дождь всегда ему нравился. Но это был не дождь. Вместо него уже несколько недель в городе плотной стеной стоял туман. Он проник в дома и почтовые ящики, в шкафчики для посуды и даже в чашки с утренним кофе. Не было видно ни земли, ни неба, только силуэты — домов, деревьев, людей. Они проступали, как воспоминания со дна ванночки с проявителем, и снова растворялись в молочной пелене.

Улицы почему-то пахли церковью — свечами и холодным камнем. По пути на работу он увидел четырех мужчин на костылях и четырех беременных женщин. На тротуаре лежал маринованный огурчик, целый, но уже подвявший, жалкий. В приоткрытой двери казино стоял огромный охранник в бордовой рубашке и ел морковку. Из-за угла неожиданно вышла овчарка, она терпеливо несла домой две сардельки, завернутые в пакетик. За собакой семенила старушка с остальными покупками. Двое мужчин увлеченно обсуждали набитыми ртами красивое здание, указывая на его выдающиеся части надкусанными кусочками пиццы. Уже достаточно на сегодня.

В пустом пассаже его обогнал громко поющий человек в деловом костюме и слишком больших наушниках. В окне одного из номеров дорогой гостиницы была протянута веревочка, на ней сушились две застенчивые пары черных мужских носков. Мимо промчался трамвай, с группой малышей внутри — каждый на своем сиденье. Снаружи это выглядело так, будто трамвай с утра, перед работой, заехал в лес по грибы, собрал самые симпатичные. И так без конца, без конца.

8 Перед сном он непроизвольно перебирал в уме эти незначительные происшествия и рифмы. Зачем он замечает такую ерунду? Те, кому он пытался о ней рассказывать, довольно быстро отваливались. Как и те, кто не понимал его жесткой иронии, хотя у нее всегда была глубокая бархатная подкладка. Его заполняла ужасная пустота после первой же непонятой шутки. Становилось скучно и как-то неудобно в груди. Ощущение было таким же неприятным, как волокно рыбы, застрявшее между зубами. Или как кожица красной смородины, прилипшая к нёбу. Как стелька, съехавшая к пятке: идти можно, но пальцы постоянно ощупывают ее край. Точно так же, как язык непроизвольно исследует пустоту на месте бывшего зуба. Ну хватит уже.

Он не успел выпить дома ничего теплого, поэтому всю дорогу чувствовал себя несчастным. Перед тем, как свернуть в свой проулок, зашел на фермерский рынок — купить ватрушку с каплей абрикосового варенья по центру, времени поесть с утра тоже не нашлось. Молодая продавщица, сама как булочка, свежая и мягкая, налила ему стаканчик горячего какао в подарок. Это было так вовремя и неожиданно, что у него запотели очки. Но он был из тех людей, которые беззвучно чихают в локоть и зевают с закрытым ртом, — так что она этого не заметила. Но ей это было и не нужно.

Он свернул в подворотню и отпер свою каморку. Летом можно было работать с открытой дверью, но с осени он закупоривался в оранжевом тепле и приоткрывал окно, только когда слышал шаги. Это было так странно — всё из-за тумана — как лица его клиентов проявлялись за стеклом. Как они безмолвно протягивали ему свои богатства — словно гадалке, словно платили дань. Говорить было не обязательно, он знал, что делать.

Крепкий мясник всегда приносил с собой стальной запах крови. От мальчика с коньками пахло мылом с ромашкой. Швея с веселыми глазами была насквозь пропитана жареным луком. Маникюрный набор увядающей красавицы хранил запах ее сигарет. Сегодня пришла незнакомая старушка с парящей над головой прической, протянула добротные старые ножницы и внимательно посмотрела на него. Он сидел спиной к окну, чтобы искры от точильного станка не вылетали наружу, но все равно чувствовал ее пытливым взгляд. Она исследовала его рубашку, серебристые волосы, палку в углу, стопку книжек, гроздь зонтиков, зацепившихся за стену. После больших гроз он подбирал зонты, брошенные разозлившимися мокрыми хозяевами, и чинил их, когда никто не маячил за окном. Некоторые продавались, но многие так и оставались в каморке. Они тосковали по большой воде, поэтому он по очереди выгуливал их под дождем. Совсем загрустивших он намеренно забывал в трамвае, чтобы их подобрали и снова дали шанс раскрыться на полную.

9

Из каморки о жизни вокруг можно было судить только по звукам. Обрывки разговоров, аплодисменты бегущих детских ног, колокольчики дверей, гул невидимых трамваев, совершающих продолжительное усилие на повороте. Радио он почти не включал, ему не нравилось прерывать собой музыку.

Дома он по привычке тоже прислушивался, особенно когда не мог уснуть. Временами ему хотелось снова разделить с кем-нибудь эти ночные звуки и воздух, особенно весной, когда все цвело. Но это желание так же быстро, как и цветение, проходило. Стоило хоть немного открыться, как его тут же обвиняли в неумении выражать эмоции и нежелании идти на компромисс. И опять хотелось только спать. Читать и спать.

По пятницам ночная улица взрывалась короткими волнами молодого смеха, они отражались от стен и таяли вдалеке. По субботам, очень рано, страшный стеклянный гром сотрясал весь квартал — это была машина, опорожняющая контейнер с бутылками. Каждый раз он пугался и подскакивал в кровати. Так же он подскакивал еще три

раза в неделю, когда над домом шел на посадку ранний самолет из столицы. Аэропорт был недалеко, сразу за рекой. Сквозь сон ему казалось, что вся улица рушится, что сейчас все закончится — этот странный сон прервется и все вернется. Бесконечный и от этого нестерпимый звук чемоданов, катящихся по брусчатке, опять вырывал его из полусна. Туристы разъезжались по домам, увозя в карманах туман и мелочь, захватывая колесиками чемоданов влажные желтые листья. Но вот во рту снова становилось сладко, и он досыпал свое время.

Он снял эту угловую квартиру на последнем этаже дома из красного кирпича только потому, что окно было похоже на иллюминатор. После всех перенесенных операций на ноге он стремился окружить себя мягкими линиями и предпочитал не держать дома ничего острого, этого хватало и на работе. Круглый стол, оплывший диван, овальное зеркало в ванной. Еду он покупал только ту, которую не нужно было резать или чистить ножом — сначала в виде развлечения и упражнения фантазии, потом это вошло в привычку. Небольшие булочки, яблоки, яйца, маленькие сладкие помидоры. Картошку он запекал целиком и ел прямо с хрустящей кожурой, грецкие орехи колот ножкой стула. Ветчину и сыр просил нарезать на специальной машине в магазине, но при этом старался туда не смотреть. Почему-то это было неприятно, особенно в случае с ветчиной.

10

Облака плавали в иллюминаторе аквариумными рыбками. Большая медведица тоже была там, яркая и постоянная. Она была всегда, во всех его окнах, с детства и до сих пор. Месяц постепенно перерастал половину и превращался в луну. Она болталась в иллюминаторе, как шарик в строительном уровне. Снизу окно тоже было похоже на луну. Одна маленькая девочка так и сказала своей маме: «Смотри, луна!». Но мама только обидно рассмеялась в ответ.

По выходным он ездил за город на маленьком желтом поезде — погулять по лесу или мелким сонным городкам с одинаковыми центральными площадями с церковью посередине. Врач настаивал на том, чтобы он разрабатывал колено. Так что он бродил по лесу, нюхал сосны, а когда был дождь и нога ныла слишком настойчиво, шел в кино. В свой любимый маленький кинотеатр, из породы выживающих, с дневными лекциями по истории кино для пенсионеров. Он брал в баре вишневую настойку и слушал, как сквозь звуковое полотно фильма прорываются нити дождя. Иногда он специально опаздывал, чтобы посмотреть, как в коридоре перед залом пожилой билетер уютно разгадывает sudoku при свете

настоющей лампы. Билетер никогда не сердился на него за опоздания, он и сам прихрамывал.

В выходные жить было немного легче, особенно когда он ходил по лесу или попадал на хороший фильм. Будние же дни часто бывали абсолютно бессмысленными. Тогда прямо в каморке его охватывало неприятное чувство, что жизнь проходит мимо. Хотя он сам ее такую для себя выбрал. Но она и правда проходила: люди шли мимо, мимо, что-то видели до и после, ненадолго заходили к нему и снова шли куда-то. А он сидел на одном месте и ждал, когда жизнь зайдет за ним — не люди, а жизнь, как друг в детстве, — и скажет: «Ты идешь?»

Раз в неделю он ездил бриться к старинному приятелю отца, который доживал свой век наравне с цирюльней. Они старались об этом не говорить, хоть тот и был человеком, неустанно вдающимся в подробности. Мохнатые жучки бровей сползались и расплзались на его круглом лице, поредевшие пружинки седых волос сжимались и разжимались, он шелестел воспоминаниями и новостями, под которые так и тянуло закрыть глаза. И вернуться домой. Или в каморку, в которой сидел отец и показывал, как лучше держать нож или как удобнее точить маленькие ножницы.

11

После аварии ему захотелось ощутить это состояние детского постоянства — когда кажется, что жизнь всегда будет такой, как сейчас, всё навсегда. О том, чтобы вернуться на прежнюю работу, не шло и речи. К счастью, проблем с деньгами теперь не было — важное семейство того молодого пьяного идиота, по чьей вине авария произошла, оказалось трусливым и, как следствие, очень щедрым. Не хватало лишь причины выходить из дома каждый день. Так что ему пришлось создать ее самому. Он отпер каморку и решил сесть на место отца.

Свои бритвы цирюльник привозил ближе к вечеру, в специальном чехле, и уходил в парк, чтобы не мешать разговорами делу. В парке было большое озеро, вдоль которого темными солдатами стояли мертвые дубы. Их не срубали, потому что в них жили многочисленные дятлы. Цирюльник садился на лавочку и слушал, как они стучат — несколько стремительных ударов, короткая остановка, снова несколько ударов. Было удивительно, как этот безумный ритм складывался в скрип очень медленно открывающейся двери.

Когда бритвы были наточены, они еще какое-то время вместе слушали дятлов и потом шли пить прохладное вкусное пиво. После

пива цирюльник уезжал домой к жене, а ему домой совсем не хотелось, поэтому он еще немного гулял один.

На трамвайной остановке играли музыканты. Обычно это был маленький оркестр, но сегодня их было только двое — гитара и кларнет. Руки кларнетиста в темной куртке были обернуты черным шарфом, он невидимо двигал пальцами внутри этого кокона. Казалось, что это не кларнет, а волшебная флейта с опухолью, которая висит в морозном воздухе и играет сама, а музыкант только придерживает ее губами. На асфальте посреди перекрестка ветром поднималось и расправлялось крыло раздавленного голубя. Тельца его уже не было видно, а крыло продолжало лететь под музыку, не в силах остановиться.

В такие вечера он еще сильнее ощущал свою непричастность к миру. Помимо приобретенного внешнего, он всегда чувствовал какой-то врожденный внутренний изъян. Он с удивлением смотрел на людей: им было так легко жить. Ему же никак не удавалось понять, как можно испытать сопричастность, а не собственное им несоответствие. Казалось, что он был сделан из другой материи и попал в этот мир по ошибке. К тому же часто он думал, что в нем не было абсолютно никакого смысла. Не было смысла в том, что он находился в этот момент именно в этом месте, шел по этой улице, на эту работу или в этот дом, стоял на этом перекрестке или ехал в этом трамвае. В этом не было никакого его персонального смысла. Он как будто бы жил свою жизнь для других — для тех, кому уже давно пора было наточить ножи или так вовремя найти зонт в трамвае. Или для тех незначительных совпадений, безмолвным свидетелем которым он становился — если бы не он, они бы так и остались незамеченными. Или для той девочки на пешеходном переходе, на которую несся пьяный водитель. Или для тех немногих женщин, которые, как они выражались, потратили на него свои лучшие годы. Но, честно говоря, от этих лучших лет они и сами стали лучше и вполне счастливо жили дальше. Вот, пожалуй, и всё, все причины жить.

Он понял, что ушел слишком далеко от дома и сил идти обратно сквозь ледяной ветер и темноту уже не осталось. Начался дождь со снегом, заныла нога. Повезло, что быстро подошел трамвай. Такие современные трамваи он не очень любил. Они появлялись беззвучно, походили на сердитых гусениц и были наполнены слишком скользкими деревянными сиденьями. Он не стал садиться, не хотелось всю дорогу контролировать распределение веса по сиденью. Поручень доверительно передал ему тепло предыдущей руки. Незаметно для своего хозяина елка вдруг погладила его по щеке

оттаявшей веточкой. Вот почему такой ледяной ветер — уже почти Рождество. Сразу захотелось мандаринов, точнее, запаха счастливого дома, закупоренного в их гладкую кожуру.

Он стоял за водителем и смотрел вперед. В огромное лобовое стекло звездами неслись снежинки, трамвай бесшумно плыл сквозь них навстречу замку на горе. Кабина со всеми этими лампочками и кнопками была похожа на пульт управления звездолетом. Ему захотелось с кем-нибудь этим поделиться, но никто ни на что не обращал внимания. Детей не было, а все взрослые уткнулись в телефоны или изнанку век. Но тут же очнулись, когда трамвай не смог отъехать от очередной остановки.

Трамваи встали по всему городу. Они не могли подключиться своими усиками к обледеневшим проводам. Поднимали и опускали рожки, но все без толку. Люди вытекли из них и недовольно пошли к метро. Он тоже пошел, подобрав по дороге несколько зонтиков.

Дома он с тихим удовольствием вспомнил, что была пятница. Он придумал особый ритуал, чтобы этот вечер отличался от других. По пятницам перед сном он менял постельное белье, принимал очень горячий душ, второй за день, и надевал чистую пижаму. В такие ночи лучше спалось, к мягким берегам свежих наволочек прибывались многосерийные сны. В сегодняшнем он вымыл пол и открыл окно нараспашку. Комната из темного трюма превратилась в палубу. Весенний ветер сушил мокрые доски. Дом, разрезая облака, кораблем летел над цветущим городом. Солнце уже начало садиться, но было еще полно сил и теплых лучей. Волосы мешали лицу, серебрились в глазах, но было лень на них отвлекаться. Занавески колыхались, пахло шишками и свободой. Он снял с неба розовое облако с золотым подбоем и опустил в чай. Размешал, попробовал, добавил еще одно небольшое — сиреневое. Размеренное тиканье часов стало звуком капель в подземной пещере, в которую вдруг превратилась комната. Пещера была огромная, как готический костел, и пахла холодным камнем туманной улицы. Откуда-то доносился кашель, сухой, как лай далекой собаки. Стало одиноко, одеяло сползло, от окна волной пришел ледяной воздух.

Он открыл глаза, было совсем тихо, только собака лаяла и лаяла вдалеке, с перерывами, но не переставая. Неужели он пропустил утренний стеклянный гром, как странно.

Он подошел к окну, раскрыл шторы и испугался. За окном не было весны, там не было ничего — белая пустота, стол, присыпанный

мукой. После секундной паники его близорукие глаза смогли наконец уловить очертания крыш, но все равно заснеженный город будто спрятался за дверь из матового стекла и стоял там, не хотел выходить. Лай не давал ему покоя, под него было уже не уснуть, поэтому он оделся и вышел на улицу. Из-за выходного и снегопада следов человечества на ней еще не было. Засыпанные машины, как слепые котята, ждали своих людей, но те не спешили к ним приходить.

В парке тоже никого не было. Лай был уже близко, но он никак не мог понять, откуда тот исходит. Потом он увидел поводок, зацепившийся за ограду. В ошейнике была пустота, но рядом с ним странно прыгала какая-то на удивление маленькая и бесформенная собачка, причем ее слишком большие для такого крошечного тела глаза и нос двигались отдельно. Он понял, что забыл надеть очки, наклонился и прищурился — маленькая собачка превратилась в черное пятно на спине большой белой собаки. Большая собака, оказавшаяся доверчивым щенком-подростком, казалось, была ему очень рада. Он высвободил поводок и взял щенка на руки, спрятал в свое большое пальто. Так было не очень удобно идти, щенок дрожал там, как второе сердце, палка скользила по снегу. Пару раз он чуть не упал, но все обошлось.

14

Дома он высушил его старым полотенцем и угостил ветчиной. Этот нелепый шумный щенок наконец заснул. Он нащупал у него на шее чип, но ветеринар по выходным не работал. Это значило, что им придется провести вместе как минимум два дня. На улице щенок больше не хотел, лежал возле батареи и внимательно следил за ним своими круглыми глазами. Ночью он немного поскулил, но быстро сообразил, что можно забраться в подмышку к этому человеку с явным тактильным дефицитом. И тот даже не станет притворяться, что сердится.

В воскресенье они два раза погуляли, но недолго. Потерянные рукавички, как разноцветные птицы, расселись по веткам и заборам. Снеговиками всех мастей и размеров смотрели на них, выстроившись вдоль тропинок. Вчерашний снег так и лежал, приглушая детские голоса, а после обеда пошел с новой силой. Все зонты снова стали на одно лицо, и город спрятался за матовую дверь. И только к вечеру огнями проступил сквозь нее. Как те лица со старых фотографий.

Утром в понедельник ветеринар нашел в компьютере телефон хозяйки. Ответил уставший голос, на фоне что-то грустно говорила девочка. Они обе взвыли от радости, и щенок взвыл тоже, услышав их голоса из трубки.

Они с щенком вернулись домой, сели на диван и стали ждать. Щенок прислушивался к звукам на лестнице и снова внимательно смотрел на него своими круглыми глазами. У него были такие смешные черные пятна под носом, как будто он ел чернила и испачкался. Не хотелось так скоро с ним расставаться.

Он открыл дверь. Они стояли там, на пороге, в холодных снежных шапках поверх своих теплых шерстяных. Щенок лизал опухшие глаза девочки. Мама тоже плакала ночью, это всегда видно по губам.

Девочка вдруг заплакала с новой силой, узнав его рубашку — у него был целый шкаф одинаковых рубашек, чтобы не тратить время на выбор.

«Это он!» — сказала она маме.

Мама шумно вдохнула слишком много воздуха и тоже расплакалась. Они не могли найти его в больнице, начала объяснять она, девочку даже не задело, она одна выбежала за хлебом — ждала маму с работы. Он понял это, как только открыл дверь, — это была та самая девочка. Одна из причин его странного существования.

15

Он поставил чайник и показал им свой иллюминатор. Белый город уже начал трескаться черным асфальтом дневных дорог. Девочка сказала: «Мы как будто стоим на палубе огромного корабля, который летит над городом». Мама улыбнулась и кивнула, соглашаясь. Теплый цветок раскрылся в его груди. Сердце глухо постучалось в горло. Они стояли на палубе огромного корабля, который разбивал лед города, пока чайник не засвистел и щенок не залаял на него в ответ.

Молока дома не оказалось, девочка в ответ на это поймала за окном целую пригоршню снежинок и высыпала в чашку. Размешала, смешно прищурилась, оценивая, потом отщипнула кусочек от тяжелого снежного облака и опустила его в чай. Так было в самый раз.

Литературный редактор, писатель, выпускница мастерской «Странные люди». Публиковалась в журнале «Фальтер», на платформах «Мох» и Prochitano.ru. Минчанка, люблю Беларусь, живу в эмиграции. Ищу среди слов путь к спокойствию и смыслу. Веду телеграм-канал «Минские сказки».



Ева ВЕРУШ

16

ЗАБЫЛА

Ада что-то забыла. Что-то важное. От ее жизни будто отрезали кусочек, и она чувствовала покалывающую прохладу на месте среза, а рядом — сосущую пустоту. Иногда, бродя по окрестностям южного городка, где они с мужем недавно поселились, Ада пыталась вспомнить, нащупать в темноте себя что-то неизвестное, необходимое.

В другие дни она игнорировала фантомную боль там, где было что-то и перестало быть. Вот новый день, его она может положить на место пропажи. Вот листья дрожат на ветру и солнце светит сквозь них, бьет в лицо, и хочется щуриться.

Ада щурилась, это было похоже на улыбку.

Мало кто знает, сколько весит отсутствие. Сердце у Ады было тяжелое, как камень. Часто ей хотелось достать его из груди и положить на полку в прихожей.

Ада любила утро, оно освобождало ее от ночи. Спалось плохо: тьма опускалась на Аду, как слон, а утром, как слон, вставала, оставляя ее

примятой и ословелой. Своих снов она не помнила, но слышала их присутствие, как мышиную возню где-то во тьме себя, под досками, отделяющими настоящее от забытого.

Ее будил булочник, который выходил со своей тележкой из средневековья на улицу — и время останавливалось, будто стрелка часов застревала в неразличимой впадинке. «Булки! — кричал булочник на чужом языке. — Свежие булки!» Потом — щелк — стрелка выскакивала, грохот тележки затихал вдали — время катилось дальше. Лежа под одеялом и глядя на тень от лампы на потолке, Ада стягивала свое растекшееся, раскатившееся существо воедино: сомнения и планы, страх, страх, мысли о кофе, и где-то под этим всем — мамина меховая шапка на давно выброшенном трюмо.

Днем Ада работала.

А вечерами накатывала тревога, ощущение отсутствия становилось настойчивым, дребезжащим, из точки в солнечном сплетении разливалось по всей Аде и подкатывало к горлу, душило. Ада открывала окна, впуская в дом влажную ночь. Звезды в оконном проеме были большие и близкие, медведица все целилась в надежде зачерпнуть побольше моря, Венера блаженно плыла над цветущими магнолиями, тяжелая, толстая, как ее палеолитические сестры.

17

Ада сидела на балконе, положив подбородок на руки, повернувшись к мужу то долгой линией спины в вырезе платья, то смятым капюшоном худи. Ей нравилось знать, что он видит ее, нравилось быть зримой, это добавляло ей реальности. Иногда собственная жизнь казалась ей слишком легкой, зыбкой, маленькой, раз — и унесет ветер, как носок с соседской сушилки.

Останется только камень-сердце.

В ту ночь было как-то особенно темно, небо будто опустилось на крыши домов, потекло по стенам, забулькало в водопроводных желобах. Пахло цветами, ветром и картинами Ван Гога, чем-то тревожно ярким, перезрелым.

— Как страшно сегодня, — сказала Ада.

— Просто сыро, — отозвался из комнаты муж. — Будет дождь. Может, вина выпьем?

Пока они откупоривали бутылку и нарезали сыр, за окном завыл ветер, и белые чайки полетели задом наперед по масляной черноте неба. Хлопнула балконная дверь.

— Шторм! — сказал муж и пошел закрывать окна.

Ада осталась на кухне одна, сыр лежал перед ней болезненно бледными, влажными лунными полукругами.

А где-то в другом времени такая же луна плыла в окне хрущевки. «Метель», — вздохнула мама, закрывая за собой входную дверь. Она сняла меховую шапку и положила ее на трюмо. Снежинки на шапке искрились и превращались в воду, мех слипался и тускнел. Когда-то Аде нравилось смотреть, как шапка двоится, отражаясь в зеркале, рядом лежат ключи и перчатки, из кухни в прихожую тянется длинное световое пятно. Аде нравилось гладить эту шапку, как кота, и утыкаться в нее носом, когда мама врывается вечером в детский сад, приседала и крепко, весело обнимала ее.

Шапка пахла ветром, снегом и загадочной взрослой жизнью.

18

Ада метнулась в прихожую, достала из шкафа свою зимнюю шапку, легкую и маленькую, сжала в руках, уткнулась носом. Не то. Мягкое вместо жесткого ободка, гладкое вместо лисьего меха, и запах — залежалый внутришкафный холод. Воспоминание таяло, как снег в духоте детского сада.

Превращалось в слезы.

Что-то было — и нет. Выцвело, обсыпалось, как лицо на старой картине. Стерлось. Не достать.

В ту штормовую ночь Аде снился север, снег, рога троллейбусов, задранные в звездное небо, как стебли бледно-зеленых растений, и отсутствие, отсутствие чего-то ломилось в голову, и слышно было, как что-то важное зовет ее издали, тихо-тихо, безъязыко, шепотом неплотно закрытой форточки в ветреную ночь.

СЛЕД

Присутствие моря чувствовалось здесь повсюду. Над отелями и парками, подъемными кранами, вокзалом и новостройками ветер нес вместе с запахами йода и рыбы ощущение чего-то константного, вечного: так фотография, закрепленная на стене, знает о каркасе дома. До переезда Есенка видела море всего пару раз в жизни и теперь часто гуляла по набережной, прислушиваясь к шуму волн, похожему на дыхание чего-то огромного и дремотного, безразличного к изменчивости человеческих судеб.

Так гуляя, она часто попадала под дождь.

Местные жители обладали врожденным навыком в непогоду под открытым небом не оказываться. Туристы забивались под балконы и навесы кафе и там, переговариваясь и грустя, ждали, пока стихия отбушует свое. Дрожали под ударами капель листья магнолий, шумело и булькало в водосточных желобах. Есенка шла домой: с волос текло за шиворот, платье липло к ногам, в кедах хлюпало.

Бывало, кто-то бросал на нее озадаченный взгляд.

19

Платья, всегда черные, Есенка отжимала и вешала на змеевик, белье бросала в корзину для стирки, а сама залезала под душ и подолгу стояла под уже теплой водой с закрытыми глазами и думала о дожде. Она была немного рыбой. Она была немного рыбацкой лодкой, ищущей в ненастную ночь путь домой. Она была немного движением, пойманным чьим-то взглядом.

Потом она выходила на балкон и пила горячий чай, бездумно глядя на бушующее море за мешаниной из крыш, антенн и чашек.

Шло время. Есенка, уже считая дожди испытанием на твердость характера, шагала домой в потоках воды шаркающей кавалерийской походкой, пиная брусчатку хлюпающими кедами. Холодало. Пора было что-то решать. Зонт при таком ветре смысла не имел, дождевики казались сплошь уродливыми, Есенка все планировала найти какой-нибудь посимпатичнее, но каждый раз откладывала: что-то в ней, что-то по-чаячьи сердитое, предпочитало упрямо мокнуть.

А люди стали привыкать к новой закономерности.

Приоткрывал окно хозяин кондитерской, проливались на улицу запахи корицы и печеных яблок. Притормозив на перекрестке, глядел вслед Есенке таксист: это не ее он видел в прошлую среду, вечером, у набережной? Тогда как раз тоже шел дождь. «А вдруг это не человек? —

шутил кто-то на веранде кафе. — Вдруг это утопленница, проклятая вечно оставаться в воде, вот и выходит на берег только в ливень».

Когда Есенка подходила к дому, ей махал из-под зеленого тента торговой палатки знакомый продавец овощей.

— Промокнешь! — кричал он сквозь грохотанье дождя.

— Пусть, — к тому моменту Есенка была уже мокрой насквозь и потому совсем не боялась промокнуть.

— Свежие сливы будешь?

Пока Есенка бездумно набирала полный пакет слив, под тентом сама становясь дождем, продавец овощей подтрунивал:

— Как водичка сегодня, теплая?

Есенка мрачно мотала головой, и путаница ее мыслей разбрызгивалась на помидоры и кабачки.

— Нет.

Однажды, толкаясь на старом рынке, Есенка заметила дождевик, желтый, яркий, такой же был в ее любимом фильме ужасов. Она купила его и с тех пор каждый раз надевала на прогулку к морю, а, замечая неизбежность дождя, возвращалась домой, по пути покупая у знакомого продавца овощей инжир и фейхоа.

Когда первые капли дождя падали на землю, она уже заваривала на кухне чай.

Она изменилась.

Но что-то осталось.

В приморском городе есть легенда. Говорят, во время дождя из волн выходит женщина в черном и идет стремительно неведомо куда по петляющим переулкам. Утопленница, привидение. То ли княжеская дочь, бросившаяся в море с пиратского корабля. То ли танцовщица, которую погубил богатый купец. Она проклята никогда не выходить из воды, поэтому появляется на берегу только во время дождя, когда море, измучившись давлением берегов, распространяется вширь и заволакивает собой город.

Когда Есенка уедет далеко, далеко, как рыбацкая лодка, ищущая путь домой, жители приморского города еще не раз остановятся у окна, заметив в зыби дождя черное движение. «Вон она!» — воскликнет кто-то. «Где?» — кто-то подойдет к окну. И увидит только дождь на пустынной улице.



Иллюстрация: Анна Боронина

Анна ЗИНОВЬЕВА

Окончила в 2023 году программу «Литературное мастерство» НИУ ВШЭ, начала обучение на курсе прозы (Creative Writing School) в группе Инны Булкиной. Публиковалась в журналах «Пашня», «Формаслов». Живет и работает в Москве.



23

Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ

Литургия делится на «до и после», на службу для оглашенных и верных. Граница — чтение Апостола и Евангелия. Оглашенным в определенный момент нужно следовать какому-то уничижительному указанию — *«изыдите»*. Но тексты писаний читают и читали для всех, оглашенных и верных.

* * *

В нашей деревне только десять дворов. Раз в год, на целые три месяца летних каникул, я приезжаю сюда дружить с Колей. Потому что других детей в Андреевцах (в деревне, где живет мой дед), нет.

На улицу принято звать голосом, поэтому я складываю рупором ладошки и кричу: *«А Коля выйдет?»*

Но в это утро Коля не отзывается и не выходит. Все просто: сейчас самый разгар покоса, дома никого нет. Только курица кудахчет мне в ответ.

Солнце еще не взошло, но уже душно, а щиколотки покусывает колючая высохшая трава. Вокруг жужжит лето. Я бегу по тропинке в дедушкин храм. Деревянная коробочка с наивной луковкой купола — словно игрушка.

Когда я прибегаю, то понимаю, что ТАМ уже ВСЁ началось. Да, именно ТАМ, потому что ТАМ присутствует Бог. Вообще-то, Бог присутствует всегда и везде, но в храме, на службе — то особая встреча. Так мне объясняет мой дед, а я, конечно же, ему верю.

Дергаю на себя легкую фанерную дверь с лохматыми войлочными краями. И сдерживаю щекочущий губы выдох — «Ах!» Я уже много раз была на Литургии, но всё равно удивляюсь. Вот всю коробочку храма заполняет дьяконский возглас одним словом «Апостолачтенееее». Как проведенная кем-то невидимая, но уже названная черта. Еще не отделившая одних от других и только предупреждающая не о мире, но о мече.

Знакомый набор звуков и зовущая интонация. Я хватаю свой раскладной стульчик, скрипящий и занозливый. Стараюсь быть незаметной, чтобы не нарушить ход службы, и бегу из прохладного угла на место поближе к амвону. Сажусь спиной к бочке-подставке для свечей, на крышке которой желтеет уграмбованный песок.

Зажмуриваю глаза, дочитали Апостола. Слышу, как дядь Вася, алтарник, тяжело шагает в сторону левого клироса. Тихое шарканье — это на солею выходит мой дед. Начинают Евангелие. Внимательно слушаю о Петре и петухе, но все время что-то отвлекает. Например, наша дворовая считалочка. Она крутится у меня в голове со вчерашнего вечера.

«Раз, два, три, четыре, пять! Я иду тебя искать!»

Или же запахи. В храме их сконцентрировано огромное количество. Знаю, что дядь Вася всегда ходит в калошах, следы от которых оставляют кусочки навоза на полу, хоть он и тщательно счищает грязь об уголок ступеньки при входе. Я не шевелюсь, хочу всё запомнить: запах свежескошенной травы, земляники, ладана и навоза. Потому что всё это — живой Бог. Нашла. Нужно запомнить и обязательно рассказать деду.

Дочитали. Теперь пройдет Символ Веры и Отче наш. После — самое главное. Я смотрю на деда — он в желтой накидке и сером льняном подряснике. Совершенно лысый, но очень бородатый. Он осматривает нас, улыбается беззубым ртом. В голову опять лезут

лишние мысли, подслушала у старших — *«каков поп, таков и приход»*. У нас, получается, беззубый. Чешу нос, чтобы не рассмеяться.

Вскакиваю со стула, я пятая и последняя в очереди. Готовлюсь широко открыть рот, подставить губы под платочек и потом поцеловать чашу.

— Христос посреди нас! — восклицает дед.

— И есть, и будет! — краснею: я зачем-то ответила громче всех.

Очередь быстро придвигается, дед каждого называет по имени без вопросительной интонации *«причищается раббожий...?»*

Но об этой вопросительной интонации я еще не подозреваю. Потому что это мое детство.

* * *

25 Детством осталась и память о субботе. В пятницу вечером мы собирались дома, кто-то из женщин зажигал свечи, а дедушка читал молитву над смородиновым домашним вином. Все садились за стол и отламывали кусочки от круглого хлеба, посыпали солью. Я сидела на теплом подоконнике рядом с дедом, который почти дремал на табуретке, прислонившись боком к моей ноге. Удивительно, но такое времяпрепровождение не казалось деревенским расточительством. Не было в этом и праздности. Даже животные в стайке были очень тихими. Чувствовали, что наступает особый день — суббота.

Дед говорил, что не смог бы служить в большом городе, потому что *«предельное переживание христианства возможно только в камерном исполнении»* — так он написал в одном из писем к отцу Михаилу. Стопка этих писем досталась мне по наследству вместе с иконой Георгия Победоносца, которая находилась в главном приделе дедушкиного храма: Георгий убивает змея, искры от их борьбы летят в разные стороны. Я часто рассматривала этот сюжет, и мне казалось, что Георгий плачет, а змей улыбается. Так и есть?

* * *

Парадоксально, но в больших городах нетерпимость к не норме гораздо сильнее, чем в деревнях и селах. Я не была в церкви много лет после смерти деда. Спустя какое-то время я начала догадываться, что моим «до и после» стала не смерть деда, а попытка вести религиозную жизнь в храме большого города.

«Изыдите, оглашенные», — вот что я читала в каждом силуэте, наклоне головы и лице, обращенном в мою сторону. Тогда я, в

очередной раз не найдя того, что искала, тяжело и громко вздыхала. И этот вздох об ускользнувшей надежде нарушал застоявшуюся немую атмосферу очередного прихода, название которого вылетало из моей головы сразу, как только я выходила на улицу. Не обернувшись и не перекрестившись.

Когда я первый раз зашла в Брюсов, читали Апостола. Было непривычно слышать знакомые тексты, но на церковнославянском. Дедушка читал и Евангелие, и Апостола на современном русском языке.

В Брюсовом служил отец Александр. Он, будто желая доказать, насколько я неправа в своей оценке христианской жизни большого города, шагнул мне навстречу. Накануне Рождества — я тогда уже ходила в Брюсов регулярно, но на исповедь и к причастию не шла — он просто сел на скамейку рядом со мной. Но вопреки намерениям отца Александра мое напряжение только возросло. Я поняла, что он давно за мной наблюдал, а мне хотелось оставаться как можно более незаметной. И вместе с тем, я страшно тосковала по своим детским переживаниям: вот ты на службе со всеми, но в то же время ты и Бог — вы только друг для друга.

— Вы когда-то были на исповеди? Причащались? — спросил отец Александр.

Я молчала, тогда он откашлялся в кулак, словно хотел разрядить мое напряжение, готовое из беззвучного стать слышимым. И даже осязаемым: на своем пальто я заметила блестящие капельки, что вылетели изо рта отца Александра, пока он кашлял. Кулак не помог, я сморщила нос.

— Ну, да, — ответила я.

Покосилась на лохматую бороду соседа. Постучала мысками ботинок друг о друга, проследила, как от такой активности развязался шнурок на левой ноге. Мне стало как-то обидно. Отец Александр, по всей видимости, считал меня новопривывшей в христианский мир. Получается, если ты не ходишь на исповедь и к причастию — ты априори не существуешь и не можешь существовать в мире Христа?

— Не человек плох, а его поступки, — сказал отец Александр и покосился на меня.

— Да, да. Только вот это всё, — я подняла глаза и кивнула ему, — казуистика.

— Приходите на исповедь, грехи свои нужно называть грехами. Избавляйтесь от этих тяжелых валунов. Это то малое, что вы сейчас можете сделать, — он поднялся, не дожидаясь ответа. Расправил спину и хрустнул пальцами.

Лавочка, на которой мы сидели еще мгновение назад вдвоем, скрипнула. Я выждала несколько секунд, рассматривая свои замерзшие руки и развязавшийся шнурок. Заинтересованно подергала заусенец, хотя на самом деле мне очень хотелось заглянуть в лицо отца Александра. Увидеть в нем что-то похожее на черты моего деда, образ которого ускользал от меня всё дальше. Я грустно улыбнулась этой попытке, заранее обреченной на провал. Невозможно увидеть призрак одного человека в чертах другого. Это же очевидно: мой дед и отец Александр не имеют ничего общего.

Делать вид, что я не замечаю осуждающее бормотание, больше не было смысла. Я подняла голову и округлила глаза в адрес старушек, которые активно слушали, о чем же это их праведный отец Александр говорит со мной, закоренелой грешницей. Старушки, как говорится, ничтоже сумняшеся продолжали на меня смотреть.

27 — Нет в тебе смирения, — обличил меня самый смелый беззубый рот.

— А чтобы кусаться, разве зубы не нужны? — огрызнулась я, стягивая с себя платок.

Шууух! Шелест юбок, шарканье переступающих ног. Все разом отвернулись от меня и потянулись вперед, туда-туда, к нему! На амвон вышел только что отслуживший всенощную настоятель. Старушки закивали в мелких поклонах. Словно китайские котики-куколки с поднятой лапкой. Перед глазами проплыла эта пластиковая игрушка с офисного стола соседа. Круглолицый батюшка обвел свою паству взглядом, сложил руки на животе. Я встала и быстро пошла к выходу, чтобы не слышать очередную проповедь о том, чего невозможно достичь.

«Христианство ждет от человека невозможного», — такие слова я когда-то услышала от деда, когда он разговаривал с соседом по покосу.

Я зажмурилась, лавируя между прихожанами, и наконец-то подошла к свечному ящичку. Устало толкнула дверь — как хотелось бы вспомнить голос деда! Попытка восстановить в памяти его голос истощала меня.

На улице мокрый снег залепил стекла очков, размыл реальность вокруг. Жить с закрытыми глазами удобно только в краткосрочной перспективе. Я сняла очки, остановилась. Проезжающая мимо машина чуть не окатила меня грязной снежной жижей — даже в сильный мороз на московских дорогах все таяло от реагентов. Я отскочила подальше, под козырек дома. Вытащила из кармана пуховика платок и протерла стекла, надела очки. А Москва-то и правда похорошела. Все предметы встали на свои места, и стало очевидно: завтра утром я пойду на исповедь. Нельзя отказываться от того, кого любишь.

Утром очень хотелось спать и замерзали ноги. Пол в церкви был каменный, помещение еще не успело прогреться. Вдруг началось движение, побежали бабушки и еще физически молодые, но уже эмоционально истощенные бытом женщины и девушки. Они не стеснялись и расталкивали друг друга, как бестолковые курицы, которым хозяйка бросила немного зерна. Это отец Александр вышел из главного придела и направился принимать исповедь. Каждая из них хотела быть первой, чтобы как можно быстрее утолить свой голод и получить причитающуюся ей долю утешения, понимания и любви. Как мы дошли до того, что ищем этого в чужом человеке, но не в наших близких?

28

Наверно, мои глаза горели слишком ярко, прямо как у Анны Карениной в известной сцене. Отец Александр остановился, игнорируя шипящую перебранку сбившихся не в ровную линию, но в подвижную толпу прихожанок. Он повернулся ко мне, подмигнул и качнул головой в угол, где все-таки начала выстраиваться очередь из добжежавших и не прекращающих тихо переругиваться женщин, девушек и бабушек. Я улыбнулась.

Спустя минут тридцать, он принимал исповедь основательно, я подошла к отцу Александру. Мои ноги еле отрывались от пола, будто кто-то превратил его в липкую мухоловку. Я, конечно же, муха, а весь патриархальный мир — большой и толстый паук. И я добровольно направляюсь к нему в лапы.

Подошла. Отец Александр повернулся к возносящемуся в небо Илье Пророку и перекрестился.

«Слава Богу, вы пришли!»

Одернула рукава пуховика: я бы тоже не отказалась от длинного летящего красного плаща Ильи Пророка, чтобы вознестись подальше от этой театральности. Вознестись как можно театральнее, разумеется.

«Он сделал шаг тебе навстречу, такого за последние годы, что ты пытаешься вернуться в церковь, еще не было», — раздраженно напомнила себе.

Отец Александр смотрел на меня, хотел заглянуть в глаза и поймать момент, чтобы заговорить. Кажется, он даже немного меня боялся.

«Помогите мне», — попросила одними губами. Но меня услышали, дрогнул огонек лампадки, освещающий крест и Евангелие.

Отец Александр начал бойко перечислять грехи, я только успевала кивать. Потом стало легче — еще и еще, я перебивала отца Александра, добавляя детали поступков, воспоминания о которых копились во мне много лет. И становилось легче и легче, я говорила, спотыкалась и продолжала. Развязалась, лопнула невидимая веревка, которая не давала дышать — я хотела взять отца Александра за руку, словно это мой дед. Но снова дрогнул огонек красной лампадки, где-то на периферии зрения проплыла чья-то тень, я сбилась. Подняла голову и увидела чуть узкие глаза отца Александра, аккуратно убранные волосы и бороду почти без седых волосков. Это был не мой дед.

29

Когда закончила, отец Александр спросил у меня, состою ли я в отношениях, и замаялся. Я вопросительно на него посмотрела, и он сказал: *«Вы, главное, не будьте простушкой. Сначала пусть женится. Так и говорите — или так, или никак»*. Я выдохнула и засмеялась, а он, кажется, огорчился. Впрочем, правильно огорчился: позже оказалось, что нас беспокоили разные вопросы.

Склонилась перед батюшкой, почувствовала вес его ладони на своей голове. Четыре легких касания — это он перекрестил макушку, покрытую епитрахилью. Простил и разрешил.

Теперь нужно перекреститься, поцеловать крест и Евангелие. Дед говорил, что это важное напоминание себе самому: *«беру крест свой и буду жить по заповедям Твоим»*.

Я отвернулась от отца Александра, он хотел еще что-то сказать. Но я убежала, потому что знала: всё будет не то. Началась Херувимская. Кто-то встал на колени, кто-то неистово крестился и бил поклоны. А я спешила раствориться в толпе прихожан, хрупкость тайны исповеди испарилась.

* * *

В Брюсовом есть такая традиция (впрочем, не оригинальная), цель которой — объединить людей. После поздней Литургии в приходском домике зимой и во дворе летом пили чай. Вообще-то, эта традиция для всех. Но в непрерывном московском потоке стремящихся найти то самое благостное место и того самого мудрого батюшку, люди постоянно менялись, а те, которые были постоянными, почему-то не пропускали «чужих» в свой круг. *Изыдите, оглашенные?* Несколько раз мы ходили на чаепитие с подружкой Таней. Помню, была очередь отца Александра читать «*всем нам нравоучения*», как называла это Таня. Мы сели в последний ряд, в первом ряду сидел раскрасневшийся от чая настоятель, в пятый раз беременная жена отца Александра и его четыре дочери. «*Женщина спасается чадородием!*» — начал отец Александр. Таня пихнула меня в бок и сказала: «*Жену он свою уже спас, теперь призывает мужчин спасать всех тех, кого еще не спасли!*».

В одну из Лазоревых суббот я выложила в ленте Фейсбука фотографию картинки отца Сергея Круглова: человек, облаченный в рясу, стоит возле панельной пятиэтажки, сложил руки рупором и кричит: «А Лазарь выйдет?» Отец Александр оставил комментарий: «*это не смешно*». Я поставила ему фейсбучный дизлайк и ответила, что у Бога вообще-то тоже есть чувство юмора. Кажется, после этого он поставил мне метафизический дизлайк и исключил из конвейера девушек, которые очень хотят спастись.

* * *

Но, как говорится, «*какою мерою мерите, такою отмерено будет вам*». Так, незаметно для самой себя, и я превратилась в ищущую того самого батюшку. Удивительно, но нашла. Как и многие другие.

Есть такое место в Москве — Хохловский переулок. Там на заборе вокруг храма — фотографии Юрия Роста. Я прошла крючковатым переулком, зашла в храм. Было пусто, свечи не горели. До всенощной еще минут двадцать. Села в уголок, растерянно, по-детски свесила руки, посмотрела по сторонам. Не знала, как помолиться. Будто в первый раз. Открыла покаянный канон.

«*Не благодарственный же*», — промелькнуло в голове.

Перебрала страницы, нащупала последние строчки, инстинктивно, вот оно:

«*оставих Тя, не остави мене; изыди на взыскание мое*».

Вспомнила все свои попытки вернуться в церковь и поверить, что я не была оставлена. Закрывает глаза, вот дедушка на амвоне и вечерний шафрановый свет теплого августа. Но я не нахожу в себе той любви. Захлопнула молитвослов. Христос снова требует от меня невозможного. И вот в голове прозвучал дедушкин голос, акающий и хриплый, кашляющий от ежедневной пачки папирос:

«не только от тебя, Машенька, а от каждого отдельного человека»

Но если не можешь полюбить и простить себя, как полюбить и простить другого?

Подняла глаза. Передо мной стоял высокий священник, смотрел на меня сверху вниз. Испугом пробежали мурашки — только бы не наступить на Брюсовские грабли, где меня словно насильно хотели привести к Царствию Небесному.

Священник был большой и красивый, с белыми волосами и бородой, как у Деда Мороза. Я разглядывала его, а он заложил руки за спину и молчал.

31 — Вы что-то хотели? — спросила, смутилась и быстро добавила, — я та еще грешница.

— Поищите внутри себя милости, а не справедливости. И в первую очередь, для себя. А потом уже и для других найдется.

Он благословил, коснулся моей макушки, и быстро пошел в сторону полукруглой дверцы в алтарь. Я подумала, что так бывает только в кино или в книжке. Оказалось, что так бывает и в жизни, потому что Дед Мороз в конце-то концов исчез. Где он теперь?

Я сняла шапку и повязала платок. Пожалуй, первый раз без внутреннего несогласия, как было в Брюсовом. Зачем бунтовать, если тебя любят такой, какая ты есть?

— Господь всегда готов отсыпать в нас сколько угодно любви, только мы не всегда готовы ее принять, — услышала я с амвона.

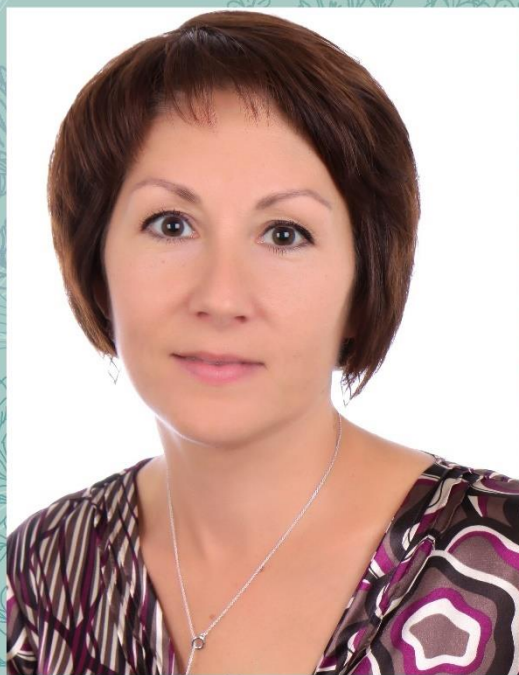
В этот вечер мне было совершенно всё равно, кто принимал мою исповедь, кто из прихожан абстрактно молился о победе добра над злом, кто наивно по-отцовски напоминал о том, что женщина спасается чадородием.

Даже если кто-то из нас не прав, Христос-то всё равно посреди нас.

Екатерина ПЕРФИЛЬЕВА

Родилась в Таганроге в 1976 году. По образованию экономист, двадцать лет проработала по специальности. Начиная с 2018 года увлеклась написанием текстов. В 2023 году прослушала курс прозы «Пишем на крыше», организованный редакцией журнала «Вопросы литературы», мастер С. Беляков. Ранее (2021–2022 гг.) окончила два курса по написанию Прозы в Creative Writing School, мастер О. Славникова, а также курс РИДЕРО (2021) по драматургии Н.Коляды, училась сценарному мастерству в мастерской А.Гоноровского (2020–2021) и на других сценарных курсах (2018–2019 гг.).

Работы попадали в шорт- и лонг-листы разных конкурсов, включая конкурс пьес «Действующие лица» театра «Школа Современной Пьесы», конкурс новой драматургии «Ремарка», международный драматургический конкурс «ЛитоДрама», Всероссийский Питчинг Дебютантов и др. В апреле 2024 года в журнале «Точка.Зрения» была опубликована моя пьеса «Мама, это будет мертвый ребенок», в январе 2023 года в журнале ЛИТЕРАТУРА была опубликована моя пьеса «Зойка».



32

МУСОРНЫЙ ВЕТЕР

Она только что украла кассету из магазина. Это был даже не магазин, так, магазинчик на пяточке у метро. В Таганроге такие называли ларьками, а здесь, в Москве, палатками. Прошла от почты до Выхино и услышала из динамика:

«Мусорный ветер, дым из трубы
Плач природы, смех сатаны...»

Сердце застучало быстрее, и ноги сами привели ее сюда. Выбора не было. Она покрутила серебряный крестик на груди и осторожно положила кассету себе в рюкзачок. Это было первый раз. Первый раз она что-то украла.

«Крематорий» — группа, которая пела эту песню, с некоторых пор была ее любимой. Сестра подарила на день рождения небольшой плеер с наушниками, и теперь можно было слушать музыку даже в метро, не обращая внимание ни на толкучку, ни на резкий запах пота — в Москве как раз стояла невыносимая жара, — ни даже на хриплый голос машиниста, выкрикивающего «осторожно, дверизакрываются!»

Она возвращалась с почты. Шла к общежитию через пустырь. Здесь уже началось строительство нового корпуса института, и стройка была огорожена полосатой красно-белой лентой. Но кого это остановит!

«Песочный город, построенный мной
Давным-давно смыт волной...»

Глаза стали влажными.

Впервые она прочувствовала эти слова и музыку чуть больше года назад. Они бродили с Леной по парку, курили тайком, болтали обо всем, что с ними успело произойти к семнадцати годам, — а произошло столько, что можно было говорить часами, — и Лена включила «Крематорий». Этой новой ее подруге попала в Эшвилле очень добрая семья, дали ей с собой небольшой переносной магнитофон на первое мероприятие в Америке — выездную конференцию или, как они сами ее называли, на ориентацию. Там они и познакомились. Лена из Москвы и она из Таганрога.

Ориентация проходила в Атланте. Всех студентов по обмену (их называли студентами, но по сути, это были вчерашние выпускники школ) собрали на кампусе какого-то университета и стали учить жизни. Жизни в новой для них стране, в новой культуре, наконец, в новой семье, с которой предстояло прожить целый год.

Еще в самолете она решила, что будет Кэйт, очень не нравилось, когда иностранцы называли ее Катя. В Нью-Йорке первое, что запомнилось после перелета, — аромат кофе. Такой насыщенный, что уже от одного этого запаха становилось бодрее. Вот и хорошо. Впереди еще два рейса до Колумбии, столицы Южной Каролины. Именно там и нашлась приемная семья Кэйт. А семья Лены нашлась в Каролине Северной.

— Представляешь, вот такие две стопки одежды положили передо мной. Говорят, носи все, что подойдет. Футболки, джинсы и даже кроссовки, — хвасталась Лена приемными родителями.

На ней, и правда, были белоснежного цвета кроссовки с вышитыми на них сиреневыми розами.

— Мама сказала, что кроссовки можно в машинке стирать, а потом в сушилке сушить. В электрической. Представляешь?

Кэйт уже представляла. В доме, где поселили ее, была отдельная постирочная комнатка-кладовка, возле которой стояла швабра и веник на металлической ручке с приделанным к нему совком. Кэйт уже многое себе представляла из тех вещей, которые ни разу в своей таганрогской жизни не видела: пакет, что надевается на мусорное ведро, и тогда оно остается чистым, специальный нож с дыркой и лезвием внутри для чистки картофеля, холодильник с отверстием, из которого падает в стакан лед, и многое-многое другое. Единственное, что она пока себе не представляла, как ей целый год прожить в чужой стране без своих родителей. По ним она жутко скучала.

— Ты ее мамой называешь? — спросила Кэйт Лену.

— Ага. Она уже третья.

— В смысле? — удивилась Кэйт.

— Ну, вторая — та, что с папой в Москве осталась, а первая — моя. Родная. Она ушла, когда мне пять лет всего было.

— Как это ушла? — не унималась Кэйт.

— Не знаю. Папа сказал, ничего не могла с собой поделаться. Полюбила другого.

«Дым на небе, дым на земле
Вместо людей машины...»

Пропел магнитофон, и Кэйт на время замолчала. Выдохнула сигаретный дым. Ей нужно было подумать. Слишком много было вновь в этой неизведанной стране: незнакомый запах в столовой, оказавшийся впоследствии запахом корицы, сильная влажность снаружи и контрастный холод от кондиционеров внутри, быстрая южная американская речь, совсем не похожая на ту строгую английскую, которую она десять лет учила в таганрогской школе. И эта новая, такая добрая подруга Лена. Высокая, с большими коричневыми глазами, с рассыпанными по щекам веснушками, делавшими ее еще добрее, в новых джинсах со специальными дырками на коленях и в новых белых кроссовках с сиреневыми розами. Пожалуй, то, что джинсы продаются с дырками, украшенными бахромой, Кэйт раньше не представляла. И как можно бросить родную дочь, тоже в ее голове не укладывалось.

— Таганрог, — крикнула девушка-телефонистка. — Кто-нибудь ожидает Таганрог?

Катя вспоминала свой поход на почту.

— Да-да, — еле успев отдышаться, откликнулась она.

— Четвертая кабинка.

— Алло! Мама, привет! Алло! Мама, ты меня слышишь? Алло!

Катя открыла дверцу кабинки.

— Девушка! Я ее слышу, а она меня нет.

— Связь плохая. Сейчас еще раз попробую соединить. Ждите, — проговорила телефонистка, протягивая пожилому мужчине телеграммный бланк.

Вот уже год, как Катя после возвращения из Америки жила в Москве. Студентка. Теперь уже настоящая, московская. Осталась на лето подзаработать. Однорупница помогла устроить на пейджер оператором, всю смену принимать сообщения. В режиме — сутки через трое. Это еще повезло. А всё потому, что со знанием английского языка. После проведенного года в Америке Катя на латинице печатает быстрее, чем по-русски, да еще и вслепую. Всё благодаря американской школе. Вот это опыт, столько всего интересного!

— Девушка! Таганрог на связи. В пятую перейдите.

Трубку взял папа. Мама, как оказалось, ушла на свои вечерние курсы, не дождалась звонка. Дома всё было хорошо.

— Доча, тут письмо пришло. Из Америки. Ну, от тех, у кого ты жила. Мы, конечно, ничего не поняли. Димка Куликов перевел. Так там адрес какой-то Лены из Москвы. Просят, чтобы ты к ним зашла. Запишешь адрес?

Ничего себе! Год прошел. Ну, Ленка дает! Конечно, запишу. Спасибо, папочка! И Катя побежала домой, в общагу. Ей тогда подумалось: а если б вдруг ее мама ушла из семьи, смог бы папа ее воспитывать? Ее и сестру. Нет. Мама бы ни за что не ушла.

«Так не бойся, милая, ляг на снег
Слепой художник напишет портрет
Воспоет твои формы поэт...»

На кампусе в Атланте соседний корпус занимали ребята из Грузии. Мальчишки пришли знакомиться к ним в комнату и

притащили с собой вино. Спиртное строго-настрого запрещалось, пить девочки не стали, но поболтать с ребятами, конечно, хотелось. Когда закончится ориентация, и все разъедутся, услышать русскую речь снова можно будет лишь месяца через два, на другом очередном слете. Тогда, в 93-м, все еще де факто были русскими.

Лена прибежала от корпуса, где жили грузины, возбужденная и долго смеялась.

— Сначала он сказал, что целоваться не умеет, а потом стал стягивать с меня джинсы, — рассказывала она про Джона, того парня, что предлагал им вина.

Лена сама вызвалась его провожать, Кэйт это удивило, но она промолчала. И вот сейчас слушала Лену, а перед глазами маячили ее голые коленки, торчавшие из порванных джинс.

— Еле отбилась, — похвасталась новая подруга.

Кэйт почему-то казалось, что на коленках у Лены видны маленькие шрамы, но спрашивать постеснялась.

36 На улице стемнело. Девчонки — а в комнате их было пятеро — залезли на «верхнюю полку» — Кэйт раньше не видела никогда двухэтажных кроватей — и выключили свет. Лена сказала, так романтичнее. А может, она пожелала скрыть отчетливый красный след на щеке. Наверное, Джон всё-таки ударил ее. На потолке задрожала желто-зеленая россыпь звезд. Вот это да! Такого Кэйт раньше никогда не встречала. Оказывается, если натереть что-то фосфором, то это «что-то» будет светиться в темноте. Про красный след она тут же забыла. Девчонки наперебой заговорили про первую любовь.

Когда все уснули, Кэйт с Леной вышли тайком покурить, и Кэйт не выдержала:

— Как же это ты не побоялась к нему пойти?

— А, я вообще смелая, — ответила Лена и выдохнула дым прямо в лицо. Она догадалась, что это про Джона. — Знаешь, чего я действительно боюсь?

— Чего?

— Обрато вернутья.

— Куда обрато? В Россию?

— Домой. К отцу.

На следующий день их ждала экскурсия в музей Кока-колы и съемки на CNN. Ужинали в МакДональдсе. Там Кэйт и заметила, что на ней нет золотой цепочки с серебряным крестиком, которую подарила ей мама прямо перед отъездом, после крещения.

«Мертвые рыбы в иссохшей реке
Зловонный зной пустыни...»

Настроение испортилось.

Перед сном они с Леной снова пошли бродить по парку. Скамеек там не было, зато через каждые десять метров стояла урна, но не такая, какие встречаются на самой центральной улице Таганрога, серые и до краев набитые мусором, а аккуратные, деревянные, замаскированные под пенечки. И пустые. В воздухе висела гроза, небо было слишком низким, и звезды казались непривычными, их узоры не складывались в созвездия. Даже те фосфорные на потолке были ярче и после ночных откровений — роднее.

— И что, Лен, вы ее не искали? — отважилась спросить Кейт, обнаружив на небе знакомый ковш.

— Кого?

— Твою маму. Настоящую. Первую.

— Ну, искали, наверное. Я тогда маленькая была.

— А, когда выросла? Неужели тебе не хотелось ее найти?

— Нет, не хотелось. Да, я ее плохо помнила.

Лена включила магнитофон, по-видимому, решив сменить тему.

«Моя смерть разрубит цепи сна,
Когда мы будем вместе...»

Катя вышла на Таганской кольцевой. Она редко бывала в центре Москвы, поэтому плохо ориентировалась. Переулки-переулки. Старинные дома, узкие тротуары. Почти нет деревьев. Деревьев нет, зато есть урны. Конечно, они были не такие, как в Америке, но их было много, все были почти пустыми. Интересно, какая она стала теперь, Лена. Было волнительно. И даже немного страшно.

— Наверное, Москва — это какой-то промежуточный пункт между Америкой и Таганрогом, — произнесла Катя вслух.

Следующий слет студентов по обмену наметили на первые выходные октября в маленьком городке на побережье Атлантики. Для Кэйт это означало, что русскую речь она услышит вживую аж через два месяца. Это было не просто. В своей спальне, — Кэйт жила внизу на первом этаже двухэтажного дома своих американских родителей, — она развесила плакаты на русском из песен «Крематория»: «Маленькая девочка со взглядом волчицы», «Мы любили сделать вид, будто мы сошли с ума», «Ведь мы живем для того, чтобы завтра сдохнуть».

Приемных родителей звали Фил и Лиза. Это были хорошие, правильные люди. Не очень душевные, но ничего плохого никому не делавшие. Главное, что у них была маленькая дочь Энди. С Энди можно было долго обниматься, читать ей на ночь сказки, убаюкивая девочку своим русским акцентом, сушить ее длинные волосы, кушать пиццу и показывать фотографии своих родителей. Кэйт по ним очень скучала.

Раз в неделю она звонила Лене, или, наоборот, Лена звонила ей. То, что следующая встреча будет на океане, Лене не понравилось.

38

— Не люблю воду.

Как можно не любить воду? Выросшая на Азовском море Кэйт не понимала.

Однажды Лена радостно сообщила, что приемная семья приглашает Кэйт на выходные к ней в Эшвилл, если «мама» Кэйт ее туда привезет. Запланировали на ноябрь, на День Благодарения.

Подходя к высотке, Катя почему-то вспомнила, что Лена ни разу не показывала ей фотографии своих родителей. Вернее, папы и мачехи. Странно, американскую маму она называла мамой, а московскую, с которой прожила двенадцать лет, — Еленой Васильевной.

В подъезде было торжественно, просторно и не современно. Чужой гранитный большой коридор с холодными люстрами дополнял старый советский лифт. С треском он добрался, дополз до девятого этажа, коричневые многозначительные двери, заедая, расхлопнулись, и Катя, вздохнув, выбралась на свободу.

— Проходите, — открыла дверь перед ней пожилая женщина в накинутой на халат вязаной кофточке.

И как это ей не жарко?

— Я — Катя. Катя Метлицкая. Мне от Лены письмо пришло с вашим адресом.

— Садитесь. Пару минут у вас есть?

Катя осматривалась. Она провалилась в большой диван, укутанный старым запахом, отчего он казался родным. «А квартира у Лены не такая большая», — подумалось ей. Квартира похоже, была двухкомнатной, но потолки здесь раза в два выше, чем у нее в общежитии, к тому же, на стенах в резных рамочках красовались картины, вернее, нарисованные простым карандашом этюды, иногда повторяющиеся. Кажется, отец Лены был архитектором, она говорила. Что-то казалось странным, но Катя пока не могла понять, что. Послышался шорох, будто бы в той комнате, куда скрылась Елена Васильевна, кто-то задвигал стульями, а, быть может, выдвигал ящики в старом столе. Все окна и даже форточки, несмотря на жару, были закрыты. А ведь там, за окном, река, ветерок. В животе поселилось волнение.

«Так не бойся, милая, ляг на снег...»

В октябре Лена не приехала на слет. Сказали, что заболела. Трубку она не брала, и Кэйт решила, что тоже не поедет, но Лиза, ее американская «мама», уговорила.

39

— Вы будете жить в палатках у самого океана. Ты когда-нибудь видела океан? А еще там рядом большой парк аттракционов.

О, это была замечательная поездка! Они купались, смеялись, умирали от ужаса на американских горках, объедались мороженым, а вечерами у костра пели под гитару, болтали— шептали-кричали. И всё это — на русском!

Когда вернулись по американским домам, прильнув к экранам, узнали, что в Москве — путч. А еще узнали про Лену. Ее депортировали в Россию, домой. Лена оказалась воровкой. Кто-то пожаловался в классе, у кого-то пропали карманные деньги, ее приемные родители заметили, что в доме пропадает мелочь, а потом, когда Лена была в школе, обыскали ее комнату.

Кэйт была в шоке. Она долго во все это не верила, просила дать ей адрес Лены или хотя бы телефон ее родителей в Москве. Обязательно нужно было им объясниться. Потом прошло время. Много интересных событий в ее американской жизни. Новые друзья, кружки, соревнования, турниры, новая любовь, и, наконец, — расставание и отъезд. Только строчки на стене в ее комнате напоминали о Лене:

«Дым на небе, дым на земле
Вместо людей машины»

Наконец Елена Васильевна вернулась в гостиную и протянула Кате конверт.

— Вот. Лена просила передать его вам.

— Спасибо. А она сама где? Вы ведь ее мама? Ну, в смысле, Елена Васильевна.

— Нет, что вы! Я у них по хозяйству. Они сами на даче живут давно. С тех пор.

— С тех пор?

Катя, наконец, поняла, что не так с квартирой. Она была будто бы неживая, брошенная, запыленная.

— Ну, как Леночка умерла, — проговорила женщина и отвернулась.

Катю захлестнула горячая волна.

— Умерла? Как умерла?

— Да. Почти год назад. Таблеток наглоталась.

— Не может быть...

— Может. Видно, у них это семейное. Какое-то расстройство, — женщина говорила, а сама протирала пыль на шкафу, и Катя решила, что она просто не хочет смотреть ей в лицо. — И мать также, и Леночка.

— Какая мать? Елена Васильевна? — допытывалась Катя, пытаясь словами пересилить тугую боль внутри.

— Да нет, причем тут Елена Васильевна. Я про маму Леночки, про родную. Она ведь тоже таблеток напилась и замерзла.

— Как замерзла? Подождите. А Лена говорила мне, что она их бросила. Ее и отца. Ей тогда еще пять лет было.

— Девушка, милая, вы, наверное, что-то путаете, — женщина присела на стул прямо напротив дивана. — Отец Леночки, Виктор Сергеевич, ушел в другую семью. К Елене Васильевне. Вот мать и не выдержала. Напилась таблеток и замерзла. Пришла на набережную. Там ее и нашли, — женщина махнула рукой в сторону окна, выходящего на Москву-реку.

— Моя смерть разрубит цепи сна, когда мы будем вместе, — вырвалось у Кати.

— Что вы сказали? — женщина, наконец, впервые посмотрела в ее глаза.

Катя набрала побольше воздуха.

— Как же они меня отыскиали?

— Так Леночка записку оставила. Просила вам это передать.

— Спасибо! — Катя поднялась с дивана, взяла конверт. Ей снова стала видна река в окне. — Я, пожалуй, пойду.

— Конечно. Как хорошо, что вы нас нашли.

Вниз лифт ехал бодрее, но теперь Катя не могла шевелиться. «Не люблю воду», слышались ей слова Лены перед той поездкой на океан.

Катя присела на пол, достала из-за спины рюкзак. Вот и посылка из прошлого. В конверте лежала та самая ее золотая цепочка с серебряным крестиком. По щекам потекли слезы, оставляя две влажных тропинки на ее лице.

— Надо было тебе ее себе оставить, — еле слышно проговорила она.

Двери, заедая, открылись, но Катя по-прежнему сидела на полу лифта, держа в руках золотую цепочку. Вверх-вниз. Двери открывались и закрывались, но к ней никто не решался подсаживаться, никто из соседей не заходил.

Пока вдруг в очередной раз на каком-то высоком этаже, она не услышала:

«Мусорный ветер, дым из трубы
Плач природы, смех сатаны...»

У молодого парня, стоявшего перед ней, топорщился карман джинсов. Оттуда и доносилась мелодия.



Иллюстрация: Луиза Ермакова

Мерген ДОРАЕВ

Родился в маленьком поселке на «белом берегу» Волги. Окончил Элистинский лицей и МГУ им. М.В. Ломоносова, проживает в Москве. Автор нескольких научных монографий и одной книги в жанре нон-фикшн.



43

AVE LENIN

*Ленин на всех звучит языках,
Ленин — прост и велик.
Казах говорит, что Ленин — казах,
А я говорю — калмык!*

*Х.Б. Сян-Белгин
(предположительно написано незадолго до ареста в 1937 году)*

Колышется цветной простор, усеянный огнями всех оттенков. Яркими взрывами прорываются бутоны сквозь снежные волны ковыля. Пропитанные солнцем и воздухом детсадовцы носятся по степи, пропалывая всё вокруг с рёвом бензиновой газонокосилки. Мятые желтые, белые и красные тюльпаны, фиолетовые и багряные цветы с неизвестными названиями — всё летит в огромные оцинкованные тазы.

Бегу и рву тюльпаны, истекающие соком в сжатом кулаке. Несусь к тазам. Снова убегаю в степь. Вокруг крики, вопли, сопли, царапины на коленях и локтях. Довольно качает головой добрая нянечка, следя, чтобы в тазы не подбросили цветущий репейник и иной сорный хлам, не достойный юбилея пролетарского вождя. За колесом шафранового пазика пыхтит на корточках пятилетний Стасик, не успевший сходить на горшок в садике. Воспитательница с недовольным подбородком стоит рядом и ждет, когда Стасик закончит, чтобы подтереть его куском измятой недочитанной газеты.

Едем обратно. В автобусе жарко, голова кружится от запаха цветов, которыми наполнены гроыхающие лохани, стоящие в проходе между сиденьями. Аромат настолько сильный, что заглушает даже вонь, которую издает сандалик Таньки, которая умудрилась наступить в «приветик» Стасика. Заплаканная девочка сидит рядом с нянечкой, которая этим защищает ее от дразнилок других детей. Пожилая женщина чувствует себя виноватой за Танькины слезы: перед этим, очищая пучком полыни подошву белого сандалика, она громко высказала прыгающей на одной ноге Таньке всё, что думала про безмозглых детей, которые могут найти г...но даже в бескрайней степи.

44

Через несколько часов мы торжественно строимся в музыкальном зале. Дворник выставил в ряд перед гипсовой головой Ленина детское подношение — жестяные посудины с искалеченными цветами. Белый бюст кажется огромным, его передвинули в центр зала, а исцарапанную желтую тумбу под ней обернули красной тканью.

Смуглый, как зулус, короткостриженный калмычонок из логопедической группы читает вирши народного поэта про Ленина. Он смешно картавит и слегка запинается. За ним должна выступать белокурая Анечка из нашей группы. Аня наполовину немка, ее родители недавно приехали по распределению. Вьющиеся локоны и голубые глаза девочки идеально подходят для ритуальной демонстрации дружбы народов. В этот раз Анечке выпала честь читать стихотворение о Ленине на калмыцком языке. Не понимая смысла, она заучила его назубок и выдает текст с невозмутимостью диктора центрального телевидения, профессионально выстреливая в ребят ударную строчку «Авэ Ленин»¹, которой заканчивается каждое четверостишие.

Я стою в шеренге детей в белых рубашечках. Нас выстроили по росту по обе стороны зала. Немного ноют исцарапанные колени, я с тоской слушаю занудное чтение стихов и с завистью кошусь на скучившихся

¹ «Дедушка Ленин» (калмыцкий).

отдельно ребят в бумажных будёновках. Этот отряд должен вприпрыжку выскочить под «Марш Будённого», который готовится играть детсадовский баянист. На предварительном отборе меня не взяли в будёновцы, поскольку у меня не получалось подскакивать поочередно на каждой ноге. По какой-то причине я подпрыгивал только на правой — в итоге прихрамывая и не попадая в такт с остальными конниками. Конечно же, у хромого всадника не было шансов на участие в столь ответственном мероприятии, и теперь я издали глазел на изготовившихся мальчишек с суровыми лицами, сжимавшими в руках принесенные из дома игрушечные сабли. Самым обидным было, что у меня дома была отличная шашка из оранжевой пластмассы, и я был уверен, что лучше всех смотрелся бы в зеленом шлеме со звездой. К тому же я больше всех знал о Ленине, так как мне единственному из группы мама прочитала детскую книжку Бонч-Бруевича. В красноармейцы взяли даже серуна Стасика, у которого нет своей сабли. Он теперь свысока поглядывает на меня и других неудачников и, слизывая стекающую соплю, гордо помахивает обернутой фольгой деревяшкой: соорудивший ее отец почему-то назвал свое творение «чапаевский палаш».

Черед кавалеристов еще не пришел. Воспитатели по очереди выходят в центр зала и рассказывают беспокойному детскому строю про жизнь маленького Володи, которому сегодня исполнилось бы сто пятнадцать лет: каким умным мальчиком он рос, как с детства любил учиться, слушался своих родителей и мечтал о счастье для всего трудового народа.

В этот момент я уже смотрел в другую сторону. Мое внимание привлек блестящий рогатый жук, вылезший из пожухшего красного бутона. Он лениво покружился на месте, перелетел с одного цветка на другой, а затем приземлился на выпуклый лоб Ленина огромным родимым пятном. Ильич словно почувствовал мой взгляд и заговорщицки улыбнулся мне кончиками гипсовых губ. «Ave Lenin, — тихо повторял я только что услышанную мантру. — Ave Lenin!»

Филолог,
диалектолог,
участник
экспедиций на
Русский Север,
преподаватель
русского и
польского
языков. Живу в
Екатеринбурге.
Публиковалась
в журналах
«Формаслов»,
«Пашня»,
«Иначе», в
проекте «Что я
знаю о папе».



Елена БОНДАРЕНКО

46

РАССЫПАЛСЯ ГОРОХ ПО СТО ДОРОГ

* * *

Рука дрогнула, и чашка с молоком полетела на пол. Ох, эти старые, старые, старые руки! Осколки, ледяная острая крошка — да по всей кухне, как их соберешь. А Мырсуха пойдет, поранится. Лужица молока расплылась толстой лошадю. На полдня теперь дел.

* * *

Однажды приехали Мария с Ашотиком, а он отвел меня в сторонку и шепчет: «Бусинка, я хочу связать маме шарф, научи меня?» Она обрадовалась так: вот это да, внук — и вязать! Так хорошо было сидеть с ним рядом, тепло это детское, которое разливается по всему телу до самого сердца. Выволокла сундук, мамин еще, кованный,

настоящий, нитки размотала: «Вот, гляди-ка. Вот сюда зацепляешь, в петельку протягиваешь, потом закрепляешь... И снова сюда...» — Нуне держала Ашоткины ручки в своих, сплошь покрытых узлами вен, будто время хочет уловить в эти синие сети очень редкую рыбу. «Ряд лицевой, ряд изнаночный... Не спеши, не спеши, вяжи, чтобы душа вплеталась в узор... Вязать — это же как шаракан петь». — «Бусинка, милая, почему у тебя руки дрожат?» — Ашотик сжал ее ладони своими крошечными пальчиками.

Пахло осенней паутиной, мандаринами и морем, это было так странно в поседевшей ее, сморщенной квартире, будто вместе с Ашотиком в заброшенный пыльный дом пришли запахи ее детства, маминого сада, черных от земли и дорожной пыли пяток и друзей, которые живы.

* * *

Один только угол в квартире всегда сиял, как сияет в храме любимая икона, такая, к которой приходят побыть со своей главной бедой и со своей главной радостью. Там, у этой иконы, всегда еще висят крестики, украшения разные, иногда даже игрушки. Нуне помнит, что ее это удивляло раньше, когда она приезжала в храм: зачем Богу украшения? А потом однажды Ашотик пришел к ней в гости и протянул ей фигурку какого-то супергероя или супершпиона.

— Это тебе, Бусинка, — говорит, — в подарок. Это самый суперсильный супергерой! Он и Человека-Паука победит, и Черную Пантеру, и...

— Буду теперь сильнее Человека-Паука? — улыбнулась Нуне.

— Нет, конечно! Ты и так круче их всех!

Вот тогда она и поняла, что к иконе люди несут подарки от любви. А супергерой, вон он, стоит. На крышке пианино. Охраняет самое дорогое. Музыку.

* * *

Отчего же холодно так? Перебирала пакеты в шкафу, искала муки и соли на лепешки. Пальцы скрючились, как застывшие на морозе ветки яблони в дедушкином саду.

«Мать муку молола — весь свет в белое одела. Знаешь, что это?» — хитро поглядывая, приговаривал дед, когда Нуночка прибежала к нему утром, забиралась на коленки и утыкалась носом в черную бороду.

Шел снег. Невиданный в этих краях белый порошок засыпал туи и абрикосы, мандарины и гибискусы, беспорядочно толкавшиеся на той стороне двора.

И дорогу.

Так редко в последнее время здесь проезжали машины. Просто удивительно, почему бы это? Другую дорогу, верно, проложили, через поселок, через сады, напрямую к морю. Там нужнее. Ах, какие там сады! Мандарины, хурма, инжир, персики... «*Во дворе рогатая корова один раз в год молоко дает, а домой не идет...*» — нашептывает дедушкин голос. Как давно она не бывала в их саду! С самой...

* * *

Крышка была цвета крепкого чая, какой заваривал по утрам дед, собираясь в горы проверять коров. И даже будто пахла терпкой травой.

Она любила к ней прикоснуться почти случайно, просто задеть краем старой Гаспаровой рубашки, в которой ходила дома. Эти мимолетные прикосновения — как едва заметные пожатия любимых пальцев на монастырской службе, как одними губами «люблю тебя» во время пространной речи гостя, который хватил лишнего на свадьбе.

48

Порой, в тихие дни, удавалось даже присесть на три минуты и пробежаться по клавишам — словно июльскими каблучками, сентябрьскими резиновыми сапогами, военными ботами или райскими крыльями — как повезет. Воздух в такие дни долго оставался светлым, а Гаспар подолгу спокойно спал, не стонал и не злился на нее.

* * *

Когда забрали отца и Гаспара, тогда, ночью, она сначала хотела бежать куда-то, спасти их, металась, кидала в сумку для нот какие-то документы, тряпки, зубную щетку зачем-то. Разворотила шкаф. Потом села посреди этих тряпок и бумажек и застыла. Щека намокла. Несколько капель упали на пол, удивительно ритмично, как «Похороны куклы». Нуне потом до света бесцельно ходила по дому, а наутро накинула какие-то простыни и тряпки на пианино, которое улыбалось ей из угла. И десять лет не прикасалась к нему.

Отец не вернулся больше.

Гаспар пришел через месяц. Без ноги. С девятью шрамами. И с рваной душой.

Рассыпался горох по сто дорог, никто его не соберет: ни царь, ни царица, ни красна девица, не бела рыбица. А это что такое, Нунеджан?

* * *

— Мырсуха, иди, я тебе молока налила!

По полу кухни неторопливо шествовал огромный рыжий таракан.

Нуна замахнулась было полотенцем — да на полпути бросила. Жалко парня. Животина всё-таки, божья тварь.

Следом прошмыгнула худючая трехцветная кошка. Кажется, во сне ей снилось, что она нашла свои корни среди сфинксов, но на деле уши были слишком велики, а характер больно уж прост.

Кошка вяло лизнула молоко, скользнула взглядом по стене, окну — и застыла.

Снег уже не сыпал, он окутывал собой всё. С неба летели обрывки неудачной симфонии о долгой прекрасной жизни, Господь разорвал ноты на миллионы кусочков и печально бросил на землю. Людям теперь сотни лет собирать обрывок к обрывку.

— Соберут ли, а, Мырсуха?

Снежинки кружились. Кошка покачивалась. Интересно, у нее тоже сейчас в голове Шопен?

* * *

Два брата друг за другом бегут, но никак один другого не догонит, слыхала ли? — и улыбается. Никто никогда так не любил Нуне, как дед.

Ну, так кто же это, кату?

Знаю, дед, знаю. Один бежит, второй за ним спешит, споткнется, обернется, один на земле останется. Бегут да бегут, не остановятся, стряхнут с себя крупинки человеческих жизней, облетят те, упадут наземь, да и уйдут водой. А потом прорастут травинками историй, одуванчиками шуток, свежими побегамы встреч свяжут прежде случайных прохожих.

Вот она сама в платье, перешитом из дедовых белоснежных сорочек: тоненькая, словно веточка заснеженного свадебного дерева. Надо же, чтоб именно в этот день тогда выпал снег. А столы-то в

маминою саду накрыли, в какой дом поместится двести гостей! Весь поселок созвали, напекли всего, наварили, наготовили... Анаит принесла бастурму и суджук, Нина — хашламу, Мариам пахлавы и гаты напекла, Наташа целый таз пельменей притащила, всей семьей, говорит, лепили... да чего там, вместе жить — вместе и праздновать. Ели, пили, плясали, плакали, ждали огромного счастья, больше горы и больше неба.

* * *

Пианино из маминого дома в новую квартиру перевозили всем миром. Подружкины мужья вчетвером катили, поднимали, опускали, снова катили, перекуривали, чертыхались, катили, хохотали, катили, спотыкались, катили... Хорошо, квартира на первом этаже оказалась, а не на восьмом, например.

Женщины тем временем накрыли новые столы, посыпали гранатовыми зернами мясо и овощи, перемыли косточки почти всем своим соседям и уселись вздохнуть. Наташа пожаловалась на нерадивых водителей автобусов, которые еще не привыкли к новой остановке, летят на всем ходу мимо, а школьники потом опаздывают. Нина сетовала на жуков и мелкие мандарины, Анаит — на сухое лето и вялую траву... В общем, не теряли времени даром. Мариам спросила, можно ли Нуне поучить музыке ее дочку. «Она старательная девка, хоть и бестолковая. В школе одни двойки. Может, ты ее своими вальсами увлечешь?»

50

Соня, дочка Мариам, недавно прислала через Ашотика из Израиля свой диск с концертом Рахманинова. Нуне слушала весь вечер. Думала, сядет поуютнее, будет наслаждаться... Не тут-то было: вскакивала, размахивала руками, вскрикивала: «Ну куда же ты тут стаккато! Глаза б мои не смотрели, уши бы мои не слышали этого модерато!» И все-таки весь следующий день она нет-нет, да и взглянет на диск, нет-нет, да и погладит клавиши — и улыбается.

* * *

Дед был из стамбульских армян, как и почему его семья оказалась в Абхазии, он никогда не рассказывал. Вообще, он про себя не говорил. На Нунины расспросы отвечал шуточками да загадками, целовал ее в горбинку переносицы и вел гулять в мамин сад.

Но что бы там ни было, всякому было видно, что дед Вардан у Нунки особенный и ей жутко повезло. Нуне носила белейшие, идеально скроенные блузы и сарафаны. У нее одной были настоящие кожаные ботинки. Она одна умела читать по-французски и по-

английски в школе. И только у нее на всем, казалось, белом свете было настоящее пианино.

Нуне была уже школьница, лет пятнадцать ей было. Майская ночь накануне какого-то школьного экзамена случилась жаркой и душной, все долго ворочались, бродили, мать заглядывала, приносила попить. Нуне благодарно пила, но легче не становилось. Через час метаний по постели она выбралась в сад. Под их деревом сидел и курил дед. Он глядел в сторону нового поселка, там сияли огнями свеженькие многоэтажки.

— Гляди, Нуне-джан, как светлячки в траве, правда?

— Дед, почему ты не спишь по ночам? Тебе снятся страшные сны?

— Да. Снятся. А я боюсь, что не смогу от них проснуться.

— Почему?

— Когда мне было 15, мы с мамой как-то гостили у родственников. А когда вернулись вечером, вместо нашей улицы увидели обгорелые деревьяшки. Только в одном окне был свет, у старой Аревик. Я боюсь, что снова там окажусь и не смогу проснуться.

Дед так и умер однажды на этой их любимой скамейке в саду. Но лицо его было светлым. Как будто он слушал музыку. Удивительную музыку.

* * *

Она увидела его вчера совсем случайно на телефоне у Ашотика.

День был грустный, дочка опять приставала с разговорами о переезде, нельзя, мол, жить одной в пустом доме, мол, это опасно. Смеется, что ли? Она уж три года как одна живет, с тех пор как Гаспар умер, ей даже и полегче стало. На улицу, правда, давно не выходила, незачем было. Еду да всякие вещи дочка привозила, а больше-то чего. Не хотелось на улицу. Вот бы только как-нибудь в сад мамин сходить, да к Наташке в гости. Надо бы попросить Ашотика когда-нибудь прогуляться с ней.

Да руки еще вот трясутся.

Нуне подошла к внуку. Он с каким-то странным лицом смотрел на экран телефона. На экране было пианино. Почти как у нее, только черное. И разломанное на куски. И все в снегу вокруг. Черное и белое, как в старом фильме.

— Что это, Ашотик?

— В него попал снаряд, бусинка. Вчера. Теперь вот, обломки остались.

Разве что ветер на них теперь сыграет.

* * *

Снег шел весь вечер и всю ночь. Дороги совсем не стало, одни сугробы, как же Мария с Ашотиком домой поедут?

Нуне сначала всё смотрела в окно и слушала, как тихо дышит во сне внук.

А потом она решилась.

Первым аккордом ожгло пальцы, как огнем.

Чулки.

Левая рука вела дрожащую мелодию, правая задумчиво касалась отдельных клавиш.

Рубаха.

Крецендо. Меццо-форте. Руки становились крепче с каждой нотой, будто наливались музыкой, как растение водой.

Красное шерстяное платье, еще от бабушки.

52 Теперь реприза. Спокойнее, умереннее, шаг за шагом. Правая перехватывает мелодию. Теперь снова левая. Линии сплетаются и разбегаются снова...

Кожаные ботинки, дедушкин подарок на свадьбу.

Пальцы всё помнят. Каждую щербинку, каждую ямку, каждый удар. Теперь легато.

Пальто.

Не спеша, шагом. *Andante non troppo*.

Платок.

*Ritenu*to. *Piano*. *Pianissimo*.

— Брысь, Мырсуха, и без тебя страшно, коленки дрожат!

Перчатки.

Вздых.

Дверь открылась бесшумно.

Лицо сразу окатило ледяным холодом и пустотой.

Она, не оглядываясь, выходит из подъезда на улицу.

Небо дышит звездами.

Рассыпался горох по сто дорог...

Во всём доме горит только одно окно.

Остальные выбиты.

* * *

— Сколько загадок ты знаешь, дед?

— А сколько звезд на небе, Нуне-джан?

— Сколько сказок ты знаешь, дед?

— А сколько цветов на мандаринах в нашем саду, Нуне-джан?

— Сколько историй ты знаешь, дед?

— А сколько слез на войне, Нуне-джан?

* * *

Вот и сказка вся, Нуне-джан.



Ксюша ВЕЖБИЦКАЯ — автор рассказов и повестей, публицист. Родилась в самом индустриальном городе Сибири — Новокузнецке. С отличием окончила факультет русского языка и литературы. Всю жизнь работает со словом: редактирует, пишет, преподает. Лауреат конкурса «Поэзия русского слова» и всероссийского литературного форума «Осиянное слово». Финалист Международной молодежной премии «Восхождение», XII Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальный родник» и конкурса «Северная звезда»-2022. Вошла в лонг-лист премии имени В.П. Крапивина-2023. Живет в Подмосковье. Автор книги «Не поехать ли нам за счастьем?»



Фото: Юлия Анисимова

55

КУРИЦА ИЛИ ЯЙЦО?

— Вот почему в поезде так жрать охота? А потому что от еды спокойнее делается. Достал яйцо, огурец, курочку — и вроде как дома. Стол, опять же, застолбил. И кровать есть. Теперь и жить можно, — говорят в соседней плацкарте.

— Это ж какой вопрос — философский! Что должно быть первым... Курица или яйцо?

— Что яйцо? Мы однажды в Адлер ехали, и семья напротив трое суток вяленую рыбу жевала. На завтрак, обед и ужин. Их ругали, на них жаловались, а они продолжали есть. Весь вагон провонял, у нас потом даже от волос несло рыбой.

— Рыба — вкусно. Эх, жаль Барабинск не проезжаем! Уж лучше, чем этот ваш глютомат.

Химический аромат заварной лапши проедал измусоленные вагонные стены из ДСП.

На взрывы хохота Лидия Павловна поджимала губы и ерзала на сиденье, заправленном без единой складочки. Сидела она на краешке, поглаживая вафельное полотенце с ромашками. Напротив разгадывал сканворд усатый мужик, который за всю дорогу едва три слова выдавил. Лидия Павловна и на него бы поджимала губы, но мужик помог ей закинуть сумки на третью полку. И крошки на столе не оставлял.

56 Со второй полки спустилась девушка. На мгновение задержала взгляд на аккуратно заправленной постели Лидии Павловны и села на полку усача. Девушку звали Катюшей, она слушала хохотунов и улыбалась, стыдливо косясь на свой кулек с пирожком — Лидия Павловна и усач заняли весь стол.

Катюша и Лидию Павловну охотно слушала, и про себя уже всё ей выболтала. «С этой хоть словом можно перемолвиться, — думала Лидия Павловна. — А то вон, едет на боковушке девица. Через губу разговаривает. В компьютере сидит. Молодые такие пошли, оторваться от экрана не могут!»

Девица на боковушке задумчиво чесала ногу, хмурилась. Забыла дома наушники, и теперь громкие соседи мешали ей работать.

Поезд закричал, присвистнул и замер у платформы, где суетились люди. Кроме чемоданов и дорожных сумок на них гроздьями висели пакеты с провизией, круглившиеся бесстыдно, как рубенсовские женщины. У окна мелькнул один такой пакет — с банками. Хрустящие корнишоны упирались в стеклянные бока, краснели соленые помидоры, с трудом помещалась в банки утрамбованная квашеная капуста.

— Красота какая, — оценила Лидия Павловна.

— Не говорите, аж есть захотелось! — соглашалась Катюша, всё поглядывая на пирожок.

Пассажиры чуть подвинулись к окошку.

— Три минуты стоим, три минуты! — басила проводница на курильщиков.

Банки покоились на лавочке. Их хозяйка нервничала: она провожала дочку. Та равнодушно курила и отвечала сквозь зубы. На плечи небрежно наброшена дерматиновая кожанка, на ногах джинсы, высокие сапожки, давно не выдавшие губки с гуталином. Взгляд дымный, в никуда. За несколько минут стоянки поезда мать успела десять раз заглянуть в сумки и мешки. «То взяла, это взяла?» И волосы поправила, и кофточку подала — «замерзнешь ведь», и пакеты свои с банками совала, а дочка всё курила, скислившись лицом.

— Провожа-ающие, выходим.

«Мама, иди».

Мать заковыляла по платформе, оглядывалась и махала рукой. Дочка бросила недокуренную сигарету с отпечатками жирных губ, лениво потянулась за сумкой и, не глядя на мать, зашла в вагон.

Пакет с банками остался на захарканной платформе. Полиэтиленовые бока дрябло обвисли, прилипли к банкам. Ничейные огурцы и помидоры безмолвно и стыдливо впечатались в стекло.

57

Поезд тронулся. Пассажиры медленно провожали сиротливый пакет глазами. Даже усач оторвался от сканворда.

У пешеходного моста раскрасневшаяся от переживаний женщина остановилась, обернулась. Руки ее бессильно повисли, а лицо исказилось, как у монумента Родина-мать.

— Бессовестная, — прошипела Лидия Павловна. — Видели, а? Ей — мать! А она! Видали, а?

— Да уж! Жалко как... — Катюша прилепились бы к окошку, если б не усач.

— На платформе оставила! Как так можно? Это ж надо! Забыла? Или специально? — Лидия Павловна едва не схватилась за сердце. Пакет уж исчез из вида, но возмущение не утихло.

— Какие молодые пошли! — разорвалась Лидия Павловна. — Ни во что старших не ставят!

Усатый мужик покивал досадливо, причмокнул, хотел вернуться к сканворду, но Лидия Павловна разошлась не на шутку.

— Видели? — спрашивала она.

Хмурая девица оторвалась от ноутбука.

К всеобщей досаде, дерматиновая куртка остановилась в их плацкарте. Девушка сверила номер полки с билетом и стала укладывать сумки.

Усатый дернулся было помогать, но Лидия Павловна пригвоздила его взглядом.

Все молча наблюдали, как девушка опускает полку и стелет постель («криворукая-то, могла бы и аккуратнее, пылицы натрясла!»)

Закончив, она взяла сумочку и куда-то ушла, пошатываясь в унисон кренившемуся поезду.

— Какая! — шептала ей вслед Лидия Павловна. — Да мне б в ее возрасте за счастье, если б мать с собой какой кусок сунула! А эта — нос воротит. Помню, в общежитии одна кастрюлька на всех. И делились, у кого что было. А теперь что? Ни к чему не приучены. Лишь бы в телефонах сидеть! — Лидия Павловна как бы невзначай поглядела на тощую с ноутбуком. — Вот что сейчас родители говорят? Мол, нам было трудно жить, пусть хоть дети хорошо поживут. И вырастили поколение бездельников! Денежки хотят получать, а работать не хотят! Никаких представлений!

58

— Ну, не все же такие, — вступилась Катюша.

Лидия Павловна поерзала и насупилась. «Сейчас прям, ага, поверила».

— Знаю много ровесников, которые работают тяжело, днями и ночами. Люди сейчас не работать, а отдыхать разучились, — убеждала ее Катюша. — А после работы еще и волонтерят.

Лидия Павловна не оценила, дулась.

— У меня вот случай был! Собрались мы как-то с друзьями на сапах покататься.

— На санках?

— Да не, на сапах, это доски такие, серфинг.

«Ерунды понапридумывают!»

— У метро собирались. И вот глядим, подходит старушка, говорит: «Ой, а скажите, как до станции Еремино, значит, доехать?» — Катюша рассказывала театрально, в лицах, изображая немощную

старуху. — Кто-то отмахнулся, мол, что за Еремино, нету такого в метро. Кто-то догадался — так это вам, бабушка, куда, на вокзал? Точно, говорит, на вокзал. Какой вокзал-то? Не помню, говорит. Наверное, Белорусский. Ну, на Белорусский, вам, значит, до кольца. До коричневой ветки, понимаете? Бабуля глазами хлопает, про кольцо и не слышала. Ну, попросите кого-нибудь, я тороплюсь, говорят. Тут старушка совсем растерялась, кругом смотрит — поможет ли кто? Подружка моя, Ленка, с которой мы остальных-то дожидались, и поняла: неладное с бабулей. Она к ней подходит, я позади топчусь, пока не понимаю ничего. И подружка моя спрашивает:

— Бабушка, вам куда?

Та бормочет чего-то. В Еремино вроде.

— А как же вы одна, вас кто-нибудь встретит там, в Еремино-то?

И этого наша бабушка не знает.

— Да вы присядьте пока, — говорим и бабушку на лавочку усаживаем.

Подруга куда-то звонит и говорит: так, мол, и так, бабушка дезориентирована, метро такое-то.

Так мы забыли про сапы, и бабушку эту отбивали от всяких с хитрыми глазами, кто готов был ее куда-нибудь везти. Минут через десять подъехали на машине полицейские, стали уговаривать бабулю с ними поехать, мол, домой отвезут. Это волонтеры вызвали полицию, чтобы разобрались, кто такая, и родню нашли. А бабуля ни в какую в полицейскую машину садиться не хочет: испугалась. Наконец удалось выпросить у нее паспорт. А мы, надо сказать, опоздали уже везде. Еле подружку от бабушки этой оттащили, мол, полиция теперь разберется.

Приехали на карьер. Там хорошо: вода к вечеру прогрелась. Купаемся, смотрю: Ленки нету. Она на сапе согнулась, лицо спрятала. Я к ней гребу, ветер встречный, как назло. Смотрю: дрожит Ленка, весло того и гляди из рук выпадет. А я ведь знаю, что плавает сносно, чего бояться-то? Я ей: «Ленка, ты чего?» А она: «Плыви, мол, не обращай внимания». Думаю, ну ладно, может, устала грести, отдыхает. И пошла плавать. Потом смотрю: Ленка плывет к берегу. И медленно так. Я ничего дурного-то и не подумала. Это мне потом уж Ленка рассказала, что у нее паническая атака началась. Сижую я, говорит, на сапе и думаю — как бабулька-то? Добралась до дома? Что

там полиция-то? И страшно так стало за нее. И вода повсюду, и берег далеко, и ветер подул сильный — вроде гроза надвигается. И чувствует Ленка, что ноги онемели — сидела, под себя поджав. И встать не может. И страх ее разобрал. Давай к берегу грести — а ветер. Полчаса гребла, догребла — ноги онемели совсем, вся в слезах — встать не может. Кое-как ее с сапа этого сняли. Вот такие люди неравнодушные бывают. За бабушку незнакомую переживала. Так что молодые тоже разные!

Лидия Павловна качала головой.

— Понапридумывали панические атаки какие-то... Малахольные пошли! В тепличных условиях растут. Раньше люди закаленные были, и войну прошли, и в поле рожали, а сейчас панические атаки у них. С жиру бесятся. Телевизор этот включишь — раньше масоны во всем были виноваты, потом марсиане, теперь вот... панические атаки. От скуки это. Работала бы, дети дома есть хотят — и никаких атак!

— Да есть же диагноз такой...

60

— Ага, денежку плати, и не такие болезни тебе диагностируют.

Замолчали. Спертый вагонный воздух отяжелел. Лидия Павловна достала пластиковый веер, обмахивалась и шипела:

— Бессовестная!..

Соседи уже не хохотали, только надсадно и жалобно скрипел вагон. Никто не возвращался к прежним делам. Усач, задумавшись, в пятый раз проскальзывал по строчке сканворда, девица с ноутбуком отрешенно смотрела в окно, на которое брызнули первые капли дождя.

Саша никак не могла вернуться к работе. То шумят, то странные пассажиры заходят. Близость вещей той, на второй полке, ощущалась как вторжение. Сколько ехать с ней? И так пришлось терпеть маргиналов в соседнем купе и тетку с веером — всю дорогу не затыкается. Теперь еще эта. Саша поморщилась. Она тоже наблюдала сцену с пакетом и чувствовала, как изнутри накатывает волна отвращения к миру.

Рассуждения тетки о безнравственных молодых, конечно, Саше не нравились, ей самой-то двадцать три года только. Но раздражение она полностью разделяла — разве можно так? Саша представила: вот мать горбатится на грядках, чтобы посадить огурцы-помидоры. Поливает каждый вечер. А спина-то не железная! Да и помощи

никакой не дожدهшься, всё сама. Потом собирает заботливо урожай, хвастается соседке, неделю закатывает банки. Потом банки томятся в ожидании детей или внуков, а те хорошо если разок за лето приедут. Дела у всех. И вот она нагружает пакет банками, да побольше, своим не жалко, наоборот — лишь бы кушали! И тащит, тащит.

А банки никому и не нужны. Как и ты на старости лет.

— Никому я не нужна, — шепчет старуха.

Саша сидит на стульчике у кровати. Кормит слепую бабушку. А шепчет ее соседка.

— Троих вырастила... И никто, никто...

Саша хочет ей что-нибудь сказать в утешение, но слова оседают где-то внутри и не идут. Пансионатских бабушек невозможно утешить, можно только отвлечь, заговорить. Когда Саша пускается в рассказы, то ощущает, как невидимо в комнате присутствует третий слушатель. Самой смерти зубы заговаривает: мол, не сегодня, пускай поживет еще старуня, не видишь, мы тут общаемся, занята бабушка, уходи!

И тогда у Саши внутри возникает эйфорический пузырек. Когда пузырек добирается до головы и лопается, по телу разливается покой и ощущение правильности. Не заменит, конечно, тех, кого бабушки эти вырастили. Но всё равно. По будням Саша сидит в треклятом офисе, дышит прогорклым кофе и думает, кем станет, когда «вырастет». А пока пансионат по субботам, потому что надо же хоть где-то искать смысл ноября за офисным окном.

«Интересно, а каково вот им живется? — думала Саша. — Тем троим, которых бабушка вырастила. Вкусно они кушают, хорошо спят по ночам, не ворочаются?»

На узкой и короткой плацкартной полке Валера согнулся в три погибели. Одежда тоже не хватало — ни лечь нормально, ни укрыться. Пригладил усы, вздохнул, перевернулся на другой бок. Тетка напротив уснула — слава богу, тишина. Отключили свет. Пришла та, с верхней боковушки. Долго шуршала, наконец забралась на полку, отвернулась к стенке. Смурная будто.

Валера вспомнил, как сам от родителей уезжал смурной. Мать такого наговорила в дорогу — впрочем, как обычно. Не вышел из Валерки нормальный сын. И всё-то он делал неправильно, и за все-то следовало наказание. Валерка внимательно смотрел — не скривилась ли губа у матери, не изменилась ли походка у отца — надо

ли уже хорониться, или еще поживем. Но ему всё равно прилетало. За плохо помытую тарелку, за бардак, за испачканную куртку, за тройку, за недовольное выражение лица, за слишком довольное выражение лица, за незаправленную постель, за съеденный обед, за несъеденный обед.

Прилетало за то, что находился в комнате, поблизости, жил, дышал и этим бесконечно раздражал такой непутевый Валерка. «У всех дети как дети, только у нас дубина стоеросовая, в кого такой?» И тогда Валерка понял: надо поменьше находиться в комнате. И убегал. Убегал и получал еще больше, в основном от отца. А потом и убежал насовсем в город учиться. Отец даже провожать не пошел, а мать говорила: никуда не поступишь, бестолочь, кому ты нужен, дебил такой, в поезде обнесут, в общежитии обнесут, только попробуй домой заявиться, дубина, говорила тебе, нет, прется в город, нет чтобы...

Удивительно, но Валера поступил в техникум, и его нигде не обнесли, а в общежитии подружился с ребятами. Но сына из Валерки всё равно не вышло: поступил не туда, работаешь не там (это при том, что зарплата у Валеры ничего себе, нормальная), жена транжирка, дети невоспитанные неучи. Отвечать на телефонные звонки от матери (отец никогда не звонил) было пыткой, но, к счастью, звонила мать всё реже. «Так старались тебя воспитать, а ты? Столько сил в тебя вложили, а ты? Вот Ванька, а ты? Вот у соседней сын, а ты?» А теперь — когда последний раз звонила? Не помнит Валера. А был у родителей... Дай-ка вспомнить. Сколько матери уж лет? Валера задумался, считал, да сбился. Сам уж полтинник разменял.

Стало душно, одеяло липло к телу. Валера ворочался в поту. Вагон храпел. Храпуны будто переключались между собой, и громче всех храпела тетка с веером. Измучавшись, Валера уснул, и снилось ему их старая кухня. Пар стоит — не вдохнуть. Мать закатывает банки, большие ее красные руки утрамбовывают огромные зонтики укропа. Маленький Валерка должен банки таскать в коридор, но голова кружится от пара, а банка скользкая, тяжелая трехлитровая. Банка выскальзывает у него из рук и падает прямо на ноги, но во сне боли совсем не чувствуется, да и банка почему-то пустая оказывается. Отчего же тогда так страшно и пот льется градом?

Саша проснулась рано. Не от звука даже, от запаха: вонь от заварной лапши смешалась с ароматом растворимого кофе три в одном, и получилось химическое оружие. Протерев глаза, тоже решила набрать кипятку, сделать чай. Там уже заваривала кашу Лидия Павловна. Заметив Сашу, она наклонилась к ней заговорщицки:

— Как легла на один бок, так и лежит, не вставаючи! Не пошевельнется. Небось самой стыдно. В глаза людям смотреть. Плачет поди.

Саша набирала воду. Лидия Павловна дефилировала по вагону, а подходя к своей плацкарте, так зыркнула на ту, со второй полки, разве дыру не прожгла.

Позавтракав, Саша скатала матрас, чтобы девушка с верхней боковушки могла спуститься. Но она не спускалась. Лидия Павловна многозначительно со всеми перемигивалась. Катюша робко надкусывала пирожок, следя, чтобы ни одна крошка не проскользнула на лидиипавловнин матрас. Усач Валера, отекий и хмурый, пил растворимый кофе и ни на кого не глядел.

Девушка со второй полки не спустилась и к обеду. Наверное, и правда переживает, подумала Саша. Может, плачет человек.

Поезд еле тащился. Саше выходить. Она побросала в сумку мятые поездные вещи и влажную от зубной щетки косметичку, затолкала тяжелый ноутбук. «Слава богу, доехала».

Выходила в суете, ни с кем не попрощавшись, отчего Лидия Павловна поджала и без того стянутые в ниточку губы. Потянувшись за ветровкой, Саша увидела, что делает девушка со второй полки. Она не плакала. Девушка катала во рту леденец и играла в «Шарики» на телефоне.

Меня зовут Алла ЛЕОНОВА. Мне 37. Родилась и живу в подмосковном Королеве. Окончив школу, я поступила в Московский архитектурный институт. Работала в Моспроекте, который до чертиков напоминал атмосферу «Служебного романа». А спустя несколько лет попала в напоминающее «Сталкер» Тарковского место: это была замороженная и устаревшая часть НИИ, где когда-то и рассчитывал формулы мой дедушка.

Когда мне было 6, мой отец, математик, эмигрировал в США. Я оказалась там спустя 18 лет. Но в промежутке мне удалось посмотреть Европу. Потом я добралась до Африки, потом – до Чили, чтобы в пустыне Атакама, на другом краю света встретить брата с сестрой, у которых бабушка была русской.

Жизненные приключения

привели меня к мысли, что я хочу сочинять истории. Я выучилась на литературных и сценарных курсах, а позже поступила в сценарную мастерскую во ВГИК, где еще учусь. Выиграла один из конкурсов Метода с проектом, над которым продолжаю работать. Один из рассказов опубликовали в журнале «Фальтер», а стихи — в «Полутонах».



СОРОК

Сорок минут на красно-серой электричке с деревянными сиденьями. Сорок минут на метро по красной ветке. И еще почти столько же пешком от станции по белому городу. Бегу в НИИ акушерства и гинекологии.

При входе в НИИ женщина с советским начесом медленно и чинно выписывает пропуска, долго рассматривая паспорта посетителей. Я записана к врачу последней и уже опаздываю на 5 минут, ожидая очередь в мраморном холле. Время тут как будто замерло: запахи лекарств и старых лакированных поручней уносят лет на сорок назад.

Запись к врачу вперед на 2 месяца. И я понимаю, что будет, если я к ней не попаду: ловля свободных дат и еще несколько месяцев ожидания.

Минуты идут. Передо мной стоит пара: парень и девушка, которой вот-вот рожать. Женщина с начесом долго и с нескрываемым наслаждением изучает их документы и на секунду кажется, что она — центральный элемент этой бесконечной цепи женских родов и потерь. Я опаздываю уже на 10 минут, в какой-то момент закипаю, словно эмалированный чайник и начинаю орать: по мраморным коридорам разносится истеричное «А-а-а-а».

Откуда-то выныривает охранник, готовый тут же меня вывести, беременная девушка брезгливо пятится со словами «Больная», а женщина с начесом продолжает меланхолично перебирать справки и паспорта, словно ничего не произошло.

Робко замолкаю, пораженная каким-то странным аффектом. Отдаю паспорт, и смотрю сквозь стекло, за которым сидит женщина с начесом, словно я рыба в каком-то бесконечном аквариуме, а мой крик — это всего лишь попытка ухватить последний воздушный пузырь...

К врачу я успеваю.

В белом кабинете мы обсуждаем возможные причины невынашивания беременности, а за окном постепенно зажигаются огоньки вечернего освещения. Я понимаю, что очень устала.

Выхожу из одетого в холод мрамора здания и жалею, что не курю. Хотя, можно просто выпустить пар в январский натянутый воздух.

* * *

Вспоминаю острый вкус шаурмы: первое, что мы побежали есть с соседкой после выскабливания. Я не помню, как звали соседку, не помню, о чем мы с ней говорили, помню только, что мы очень сильно хотели есть. И грузинского парня с болотисто-зелеными глазами, что сворачивал нам конвертики из лаваша, помню. Было лето, но какое-то серое и пустое. Бетон лавочек, спортивные треники, в них удобно после операции, и теплый ветер. А потом вкус искрящегося грузинского лимонада на языке, липкий, вязкий.

Резкая гроза и дождь, хлынувший из живота огромной тучи цвета асфальта. Мокрая фольга, в которую завернута шаурма, потемневшая от капель дождя одежда. Грузин предлагал нам зонт. А мы побежали обратно в больницу. Обычное лето. За ним пустота.

* * *

66

Мне семь, и я осторожно ступаю по перекладинам металлического лабиринта, словно канатоходец. Я пытаюсь перепрыгнуть через дыру там, где отсутствует одна из перекладин, но падаю, ударяюсь грудью и несколько секунд не могу дышать.

На детской площадке никого: все разбрелись по бабушкам или ушли на обед. Вокруг бесконечная вязкая серость ранней весны. Я решаю пойти дальше, к высокой, метра в три-четыре, металлической лестнице. На самой последней перекладине я кувыркаюсь, повиснув над пустотой. Руки потеют и скользят, еще чуть-чуть, и упаду. А лететь до земли, кажется, бесконечно долго. Но в последнюю секунду я хватаюсь за холодную, как жаба, боковую трубу лестницы, перелезаю и спускаюсь вниз.

Иду в следующий двор: быть может там я встречу кого-то. Мне кажется, словно я в большом надувном пузыре, который несет ветер. Ни у пузыря, ни у ветра нет постоянного направления, есть только хаотическая пустота движения.

Через час, а может, и через два я встречаю на одной из бесконечно похожих улиц военного городка вспотевшую бабушку и бесконечно злую мать.

— Мы искали тебя три часа! — мать пытается совладать с собой и не сорваться в крик. Я всё понимаю, смотрю в пол. Я очень рада, что в очередной раз меня нашли.

Первый раз я сбежала из детского сада через дырку в заборе. Забор починили, а бежать я продолжила: уходила гулять, шаталась иногда часов пять по одинаковым дворам. Мама с бабушкой всякий раз искали меня. Красные, запыхавшиеся, словно быки мчались навстречу, только увидят. Мама больно хватала меня за руку, это значило «Я тебя не отпущу». И мне становилось спокойнее.

* * *

Мне шесть. Ты за руку выводишь меня на улицу, февральская снежная каша напоминает сметану из топленого молока.

— Через две недели я уеду, далеко. В Америку, — Ты говоришь это буднично, но отводишь взгляд, ковыряя снежное месиво носком ботинка. Земля уходит у меня из-под ног. Это ощущение я испытаю потом не раз. И понимаю теперь кое-что: всё, что причиняет нам столько боли, всегда незаметно и буднично. Как будто ничего не произошло. Обычная зима.

Ты уезжаешь за океан, толком не попрощавшись. Я даже день отъезда твоего не помню, папа. Память блокирует дни моральных ДТП. Заблокирует лето и шаурму, болото глаз грузина, весну серую и лабиринты перекладин. И лишь однажды прорвется криком, разнесется по мраморным коридорам болью, но тут же робко затихнет, не замеченная никем.

* * *

Иду от НИИ. Под светом вечерних фонарей белое стало темно-синим, фиолетовым и розовым неоном. Вспоминаю, как-то за обедом коллега мне сказал:

— У моей жены было пять выкидышей, ну и что? В итоге родила же!

Улыбаюсь, и стреляю у прохожего сигарету с рыжим фильтром. О боли говорить не принято, важно казаться сильной, лучше закурю. Тем более у меня было всего два, ну и что? Да и сын у меня есть: «родила же!» Мне повезло больше других, грех жаловаться. Вспоминаю слова одного знакомого:

— Эй, ну что ты ноешь, у тебя же есть ребенок. Не концентрируйся ты на этой боли, надо мыслить позитивно.

Не докурив, бросаю сигарету, ставлю в наушниках случайную песню. И думаю про других девчонок, которым повезло меньше, чем мне.

Вспоминаю безымянную соседку: первая беременность — выкидыш.

Вспоминаю акварельную Аньку, с которой я лежала в больнице на полгода раньше: этот выкидыш для нее — третий. Она поглаживала живот, смотрела сквозь своими водянисто-васильковыми глазами, без остановки отпускала шуточки. За смехом мы обе прятались от невыносимой грусти.

Вспоминаю Юлю, с которой лежала на сохранении в первую беременность. Юля рыжая, веснушчатая, с мелкими кудряшками, у нее это тоже первая беременность. Она работала в госконтроле, травила истории про дилеров, которых часто безуспешно их контора пыталась ловить. Мы подружились, лежали в разных палатах, ходили друг к другу. В какую-то из ночей в соседней палате слышно было движение, стоны, топот медсестер.

В обед зашла Юля: веснушки погасли, цвет ее лица был каким-то серо-желтым.

— Почистили, — сухо сказала она, — Во время наркоза такие мультики! Завтра выпишут.

Я молчала.

Перед выпиской она заглянула в мою палату, и мы долго молча смотрели друг на друга, потом также молча обнялись. Она ушла, а я всё не могу забыть ее взгляд, пронизанный страхом и удивлением.

Мысли лавинообразно окутывают меня. Думаю о том, что после одного-двух дней в больнице все эти женщины пойдут на работу как ни в чем не бывало, все они будут молчать, продолжают казаться сильными, продолжают делать вид, что всё окей: таковы правила общественной игры. И, хоть мне до сих пор неудобно об этом говорить, как будто я попрошайка в метро, я одна из них. Неудавшаяся попытка, выкидыш — кажется мне чем-то постыдным, вместе с тем меня охватывает невыносимое тягучее бессилие. Как

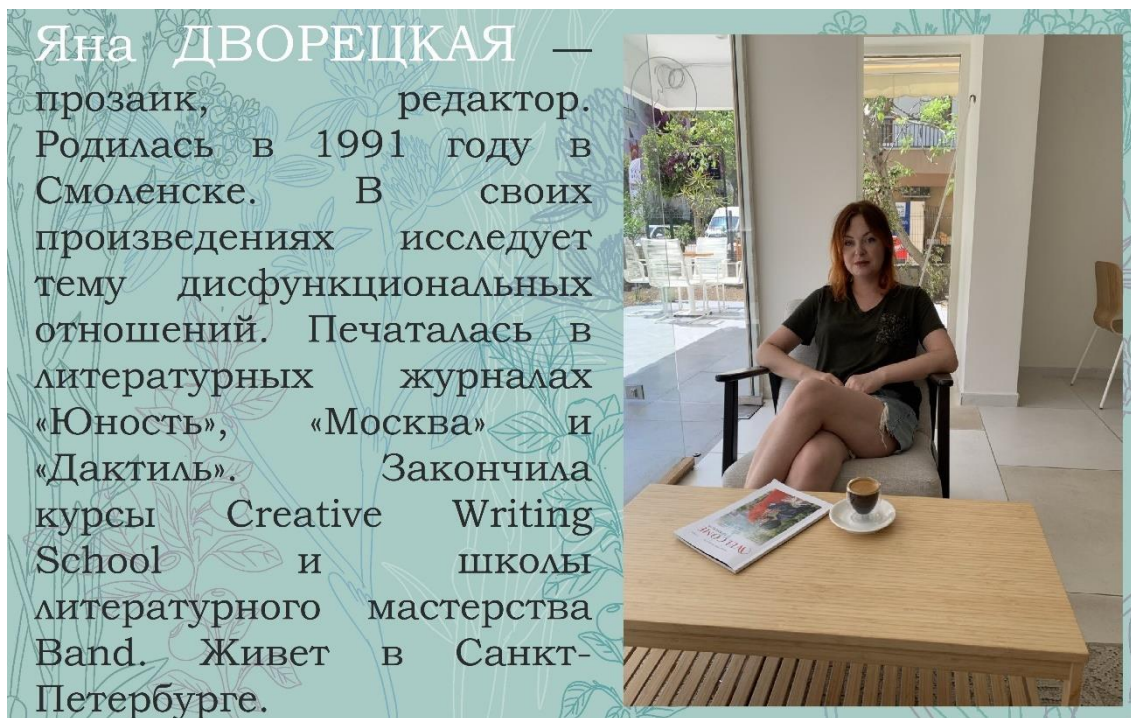
будто мой ребенок ушел гулять, а я ношусь по бесконечным спиральям улиц и не могу его найти.

Иду мимо металлических лабиринтов детской площадки: девчонка лет семи бежит по ним с радостным криком:

— Ма-ам, Па-а-ап, догони-и-и-и...

Крупные хлопья снега летят мне в лицо: завтра февраль. Обычная зима.





ЖИРНАЯ

I

— А у нас тут только так: ты либо вджобываешь по полной, либо идешь на хрен, — заявила Люба Новенькой на созвоне по проекту.

Сомкнув напомаженные губы, она промаслила их друг об друга и жизнеутверждающе чпокнула прямо в экран ноутбука, Новенькая дернулась.

— Говно у нас в компании не делают, — подмигнула она Новенькой.

Две недели назад Люба собеседовала Новенькую на работу. Потом перед своей руководительницей Таней Началовой защищала ее наем: как ни крути, а отыскала в море, извините, говна редкую рыбку: за спиной у Новенькой десятки успешных кейсов, она спец с опытом; работала в «Школагии» на позиции редактора, и спустя два года уходила из компании руководителем отдела в семь человек, затащила 100+ курсов с 1300+ экспертами в 10+ предметных областях. Шикарный трекшн за такой срок.

На общей планерке Таня благодарила Любу — перед всей редакцией! — за то, что та вот уже полгода в одного затаскивает наем новых редакторов. «Без Любы я бы вскрылась», — сказала тогда Таня, а потом затянулась вейпом и скрылась в дымной воронке, заполонившей окно «Зума».

Новенькая, казалось, была благодарна Любе, слушала ее, казалось, всем телом, пока они ждали дизайнера. Плечи Новенькой от страха приклеились к ушам, глаза бегали, волосы всё время поправляла, от этих касаний они обмаслились и висели, как ивовые ветки.

— Ночь целую пилили «Твой Класс». И вот новый день, и снова здравствуйте, — Люба посмеялась. — Дизайнеры, редакторы, прогеры, да все. Подключались, работали, отключались, потом новые подключались, — Люба стянула волосы на затылке, завязала в резинку, удовлетворенно вздохнула, вспоминая продуктивную рабочую ночку.

72 — «Твой Класс» — это то, что мы сейчас обсуждать будем, так? — нервно, не попадая в радостные Любины ноты, спросила Новенькая.

— Да, — буркнула Люба. Ясно, что Новенькая не удосужилась даже повестку встречи изучить.

— И еще вопрос, можно?

— Можно.

— «Твой Класс» — это же стартап «Игрошколы»? Я просто полазила в доках перед встречей, и там не всё понятно.

— Что ж там непонятного? — ухмыльнулась Люба, это она писала доки к проекту. — Да, стартап по задумке нашего главного. И да, поэтому критично сделать все звездато. Но ты не ссы, быстро вкатишься. У тебя есть Андрей Питонов и я, проонбордим враз.

Пока Люба говорила, Новенькая размыла задний фон у себя в «Зуме». Ишь!

— Я в «Школалогии» уже делала нечто подобное: для групповых занятий сервис, с доской и прочими фичами, — пролепетала Новенькая сквозь черный экран, потом вдруг включила камеру.

Ее поведение показалось Любе некомандным и вообще оскорбительным. Что за ромашка: включила камеру, выключила? У нас встреча, а она с чем-то посторонним возится. Вот она, Люба, не посмела бы перед своей Таней без предупреждения выключить камеру.

Понятно, что для Новенькой Люба не совсем руководитель, точнее — совсем не руководитель. Новенькая де-факто в команде Тани Началовой, как и Люба, но Люба — старший редактор всё же. И это Люба Новенькую нанимала, это она дала ей жизнь в компании. Люба ей почти как мать родная, без всякого преувеличения.

Короткий звук, как отскочивший от дверного звонка: во встречу вошел Андрей Питонов со своим эгегей-настроением.

— Андрюша, милый мой, ненаглядный, — запела Люба. Андрей даже растерялся.

— Привет-привет, Люба, — сказал и стал шарить взглядом по экрану, видимо, искал «Фигму», прибавил по ходу. — Третий квартал распланировали уже?

— Ведомость еще не закрыли. Если задачи остались, несите, рассмотрим, — Люба сделала паузу и заправила русые волосы, мочалистые, как сухая люффа, за бугор покатога плеча. — А я уже соскучилась по тебе. Давно мы с тобой не занимались совместными... кхм... проектами.

Андрей быстро посмотрел в экран, угукнул, и взгляд его стал размытым; видимо, уже открыл «Фигму» с нужным макетом и убежал от греха подальше в работу.

— С тобой будет работать наша Новенькая. А я так, только проконтролирую, чтобы всё в рамках закона было, — Люба посмеялась басисто. Грудь от смеха тряслась, как батут от детских прыжков.

— Обучаешь? — серьезно спросил Андрей.

Люба смутилась, шутки он явно не понял. Заметила, что у нее из-под платья выскочили мощные, словно морские канаты, бретели лифа, и подтянула. Мамино, поэтому такой старческой расцветки. Другое на ее тушу не налезет. Захотелось выключить камеру и прыгнуть под одеяло, погладила взглядом стоящий в углу диван с белыми, как из манной каши, комками постельного; он всё еще там,

ждет ее. Ладно, разобралась-собралась. Сорок минут встречи еще надо отгарабанить, потом сопли распустит. А пока — всосать сопли назад, солнце еще высоко!

— Смену себе готовлю, — с полуулыбкой ответила она Андрею.

Но Андрей глубоко нырнул в дизайн макета и уже как будто не слушал ее.

— Вас двоих на проект поставили? — спохватился он через минуту. Люба эту минуту обиженно молчала, а Новенькая снова выключила камеру.

— Нет, говорю же, я наставничаю. Я же теперь старший редактор, Андрюш.

— Люб, я справлюсь, ты можешь идти, — пискнула вдруг Новенькая из черного квадрата и обратилась к Андрею: — Могу же поспрашивать тебя про макет?

74 — Нет, погоди, — вмешалась Люба, голос ее стал громче. — Сначала посмотри, как надо правильно брифовать. Я тебе сегодня покажу, потом будешь сама. Не спеши, дорогая моя. Андрей, ты пошаришь экран или я?

— Давай я, у тебя доступа на редактирование нет, — ответил Андрей, и на экране у Любы появился интерфейс «Фигмы» с прямоугольными экранчиками «Твоего Класса». Люба закипела: некоторые заголовки, плоды ее ночного труда Андрей, судя по всему, взял и переписал.

— Ты, я вижу, уже похозяйничал, — сказала она с игривым недовольством.

— Ты про заги? Там же какая-то муть была. Я пока lorem ipsum поставил. Можешь менять все, что твоей душевненьке будет угодно. Только я чекну в конце, чтобы норм встало.

Муть была... Какие же тупорылые эти мужики. Но сейчас лучше не начинать, подумала, а то Новенькая услышит, что тексты Любы можно называть мутью. Плохой прецедент.

— Люблю, когда мужчины берут инициативу в свои руки, — пролепетала.

Андрей принялся рассказывать про проект и пояснять, какая на этом этапе потребуется помощь от редактора.

— Ты нам не поясняй. Мы сами тебе скажем, — заметила Люба покровительственно, словно старше Андрея лет на тридцать. Сама себя в этой компании чувствовала бабкой. Вот три аргумента за: обвисшая грудь, жировой горб и почти неходячие, онемевшие ноги.

Новенькая притихла, и камеру не включает. Где она вообще? Надо не забыть сделать ей замечание после встречи. Важно растягивая слова, Люба принялась задавать вопросы Андрею по макету, то есть брифовать, и вдруг эта фиалка явилась, но теперь Люба услышала незнакомый напористый голос (если бы не видела, что это рот Новенькой открывался, не поверила бы):

— Извините, коллеги. Хочу внести ясность. Я опытный редактор и могу сама вести проект. Люба, извини, но я не в твоей команде, ты просто помогаешь мне влиться в работу, а это у нас только по запросу, если я правильно поняла процессы. Сейчас запроса такого нет, я вполне могу провести встречу с Андреем сама, не вижу смысла тратить часы двух редакторов для этой встречи. Если будут вопросы, я к тебе отдельно приду.

75

Автоматная очередь из слов. От стыда Люба не смогла возразить ей сразу, поэтому улыбнулась. Андрей всё понял и сразу выключил у себя звук, занялся дизайном.

— Бунт на корабле, капитана теснят, — пошутила Люба и добавила: — Ну что ж, если моя помощь не нужна тебе... — покосилась снова на диван. — Хорошо тогда. Мне так даже лучше. Андрей, пока! Напиши мне потом, после встречи, плиз. Будет пара вопросов.

Люба отключилась и выругалась матом перед опустевшим экраном.

Новенькая залезла на ее территорию. Андрей — старший дизайнер, и она, Люба, старший, а Новенькая кто? Обычный рядовой. Какое право она имела так встревать? Люба подумала, что она, будучи новенькой в свое время, ходила с раскрытыми, как крылья бабочки, глазами и только слушала-внимала Тане. И правильно: благодаря Тане она и человеком в «Игрошколе» стала, а это рвачиха хочет все и сразу. Нет, не приживется она.

Люба оперлась на стол и, скорчив лицо (вдруг стрельнуло в пояснице), медленно поднялась, встала на опухшие за встречу ноги. Сто пятьдесят килограммов у нее были на прошлой неделе, а теперь, может, и больше стало. Обрастает жиром, как деревянная палочка сахарной ватой. Она уже и не взвешивалась: стрелка на напольных весах всё равно зависла на максимуме.

С матерью в поликлинику пойду, там весы помощнее будут, тогда уже. Но как-то всё не до поликлиники было.

Придерживаясь за стену, переставными шагами Люба доковыляла до кухни. После часовых встреч ноги становились дубовыми стволами, и до вечера Люба их вовсе не чувствовала. Один коллега как-то пошутил: мы друг для друга просто говорящие головы, и Люба тогда усмехнулась про себя, что он и не подозревает, насколько близок к истине. Она, Люба, точно ждун из мемов, гомункул слоноподобный. Слава удаленке!

76 На кухне, со стоном согнувшись, Люба достала из шкафчика кастрюлю. Решила сварить на обед риса, к нему в холодильнике, кажется, была вареная курица. Вареное, пареное — вчера ей даже захотелось что-то исправить в своей жизни, и она приготовила здоровую еду. А сегодня хочется удавиться.

Поставила кастрюлю на плиту, но другой рукой, словно в нее вселился кто-то, ударила по кастрюле со всей силы. Кастрюля стукнулась об стену, потом об пол, мелко завибрировала там. Люба крикнула: «Тварюга!» и сползла вдоль шкафчика, зарыдала, завывала, застонала. Не девушка, а кремово-бисквитная масса «Графских развалин».

Отрыдав десять минут, Люба вытерла лицо надутыми, точно резиновыми пальцами, вскарабкалась, опираясь на все подряд, и, поднявшись, взяла со стола телефон, четко, методично заказала два бургера в любимом «Фрэнк Бургерс». Пока везут, успею подключиться на редакционную встречу, рассудила — и поковыляла на рабочее место.

* * *

«Не занимайся ты ерундой. Люби себя как есть», — поддержала Любу тем же вечером подруга. Вика шла с парнем в кино, а Люба в это время играла в стратегию «Тропико б». Развила там не государство, а град небесный.

В Вике пятьдесят пять килограммов. Пятьдесят пять килограммов любить проще. Любино же сердце должно охватить в три раза больше, и от этого оно болит.

«Любят и полненьких. Любят всяких», — утверждала Вика, игнорируя тот факт, что в последний раз, когда Люба была в отношениях, она весила 88. Это было пять лет назад. С тех пор она насобираала на себя еще столько же. Плавать в собственном жире — это как вернуться туда, откуда тебя исторгли: в комфортную температуру матки. Туда ведь она, обрастая жиром, стремится? Глядя на свою маму, Люба уже засомневалась, что в ее матке Любе было бы так уж хорошо. Здорово, конечно, свернуться калачиком, завязаться узелком и безмятежно поплыть по околоплодным водам. Но приходится жить.

Всё, дошли уже, блякнуло сообщение от Вики: ответу, как выйду с фильма. Люба пожелала ей хорошего просмотра и тоже решила на просмотр. Свернула игру и нашла в закладках любимый порносайт.

* * *

77

После короткого телесного облегчения вернулось вечно пребывающее с ней неизвестное чувство. То ли отвращения, то ли беспомощности, то ли суицидального отчаяния. Не разобрать, поэтому брала всё. Вспомнилась почему-то Новенькая. Темненькая, хрупкая, слишком хрупкая, даже ненормально уже такой быть; запястья как тросточки, косточка аж выпирает, как драгоценная пуговка на манжете. Андрей на встрече пялился на нее. Конечно, она ему понравилась.

Что мастурбировала, что ни мастурбировала, а отключиться от жизни всё равно не удалось. Только сильнее всё раззуделось; написала в телеграмме Ване:

«Приеду, если анал будет, а то работы много», — ответил он.

Ваня — маркетолог из прошлой Любиной компании. Они даже встречались недолго в бородатом шестнадцатом, а потом он ее бросил, но спать с ней не переставал.

В прошлый раз признался, что всё у него к Любе сложно, сам не поймет, в чем дело, и ему надо подумать. Люба по соцсетям поняла, что у него появилась девушка. Но Ваню про нее не спрашивала,

боялась как-то обидеть, спугнуть. Правда, он и без того приезжать почти перестал, приходилось почти умолять.

Люба уверила, что анал будет.

Пока сходила помыться, он уже прибыл. Люба всё исполнила, как обещала. Заказали пиццу, Ваня любил грибную. Сели на балконе, Ваня задымил вейпом, Люба за компанию достала из пыльного балконного ящичка припасенные сигареты. Курение — тот же «Турбослим», хорошо сушит.

— Что за папиросы? Еще бы «Беломор» достала, — засмеялся Ваня. — Вон, вейп лучше, невредно для легких.

Люба попросила у Вани вейп, затаилась. Во рту спелый манго с растопленным белым шоколадом. Кивнула: правда, круто. Ваня вытер место, к которому она прикоснулась губами, и тоже затаился, красиво сощурился.

— Это не потому, что ты мне противна, я просто не переношу слюни, — пояснил и, откашлявшись, добавил. — Ты мне сама не пиши больше. Я сам буду писать тебе, ок?

Сейчас докурим, и он уйдет, подумала с тоской Люба, а потом неизвестно, когда еще напишет.

Чем неожиданнее случались эти встречи, тем ценнее они были для Любы. Ловила редкие капли широко разинутым ртом. Верила, что у них любовь, просто такая сложная. Люба прижалась к ровненькой безволосой груди Вани и послушно кивнула.

* * *

Секс у них случился тогда аж два раза, с перерывом на пиццу и перекур, но, несмотря на это, Люба после его ухода не торопилась на боковую, а пошла по разным сайтам и опомнилась только в третьем часу ночи. Отвлеклась от пестрого экрана ноутбука на тусклые обои; разноцветными квадратиками расчертилась стена, как во время технической паузы на «Первом канале», а потом уже стали проступать полосы цвета испражнений, обвитые тусклой виноградной лозой. Обои с этим орнаментом выбирали еще дед с бабушкой, они здесь все и обклеили. Любе эта квартира ожидаемо перешла по наследству, когда бабушка умерла.

Бабушка умерла три года назад. С тех пор Люба жила здесь одна. К счастью, на соседней от родительского дома улице, поэтому по вечерам, когда у матери не было давления, она заходила за Любой, и они гуляли за ручку вдоль районных пятиэтажек, серые прямоугольники, оранжевые квадраты. Зимой, когда начинался гололед, эти прогулки становились для Любы жизненно важными, как и мама: без нее было бы вообще страшно выходить. Однажды она уже поплатилась за самонадеянность: решила сходить в одиночку до ближайшего «Магнита» и сломала ногу.

Перелом ее жирной ноги заживал плохо, и в тот год она несколько месяцев безвылазно сидела дома. Это было страшное время, еще и сразу после похорон бабушки. Тогда снова набрала: к ее тучному телу прибавился, тютелька в тютельку, бабушкин вес. Всегда толстая, бабушка перед смертью вдруг высохла, и Люба вобрала ее в себя: все шестьдесят килограммов. Вскоре прекратились месячные. Люба стала бабушкой. Детей у нее не будет, это было понятно. Мужа, очевидно, тоже. Кому такое надо?

В темноте она больно схватила себя за увесистую кожно-жировую лепешку над лобком. Осталось доживать. Но это ничего. Бабушка, вот, двадцать лет после смерти деда прожила. И нормально. Ездил на дачу, смотрела передачи про здоровье; кормила домашних и подъездных котов; не торопясь, готовила приданое в гроб.

Чернота улицы всасывала в себя черноту комнаты. И всё на глазах становилось чернотой. Затхло, прогнившей, мертвой. «Это всё?» — словно кто-то спросил Любу, но в квартире больше никого не было. Показалось.

«У бабушки хотя бы была я. А у меня никого. Если умрут родители... Никто меня не найдет, никто даже не хватится. Одинокий труп в пустой квартире. Вонючее, задубевшее желто-серое тело. Только кот, конечно же, будет ныть под боком просить пожрать».

В темноте раздался густой, тяжелый рев. Тяжелая подушка, еще бабушкина, отлетела в старый сервант, и там что-то свалилось на пол со страшным звоном. «Ненавижу тебя! Сдохни уже поскорее, все равно никому не нужна», — прокричала Люба сквозь рыдания. Слезы заполняли ее складки на шее, на лице, забивались в нос, уши, смешивались с соплями и склеивали волосы.

* * *

На следующий день Люба проснулась в восемь. Не по будильнику, просто привыкла вставать рано еще с тех времен, когда водила бабушку в поликлинику. Голова болела от вчерашних слез, глаза закрывались, как у советской куклы, но, полежав недолго, поняла, что заснуть опять всё равно не сможет: в солнечном сплетении трепыхалось что-то, отчего Люба не могла найти себе места.

За ночь у нее созрел ответ на тот вопрос из черноты:

«Нет, это не всё! Не всё, блин!»

Она сразу написала матери, напомнила ей про врача (дали же ей знакомые какой-то телефон какого-то эндокринолога): «Номер остался? Давай всё-таки дойдем».

80 Сварила кашу, после правильного завтрака рассеялись остатки тяжелых мыслей, словно на верную рельсу встала и поехала. Умылась, причесалась, накрасилась. Теперь была похожа на человека. Вчерашний день, как гробовая тайна, останется при ней. Никто не узнает, что ей хотелось отправиться к бабушке. Она будет излучать только продуктивность и эффективность, оптимизм и благодушие, только это, всё остальное — в тень.

В десять у Любы еженедельный созвон с Таней Началовой. Люба надела на эту встречу свою самую ласковую улыбку. Грядет реорганизация отдела, Любу рассматривают на руководителя подразделения, надо показать себя с лучшей стороны.

Появившись на экране, Таня сразу же сдвинула брови. На переносице вырылся привычный Любе морщинный канал, она наблюдала его вот уже почти пять лет, и он ей совсем не надоел; даже, наоборот, дарил опору.

— Ну как ты, дорогая? — спросила Люба первая.

— Подожди, пожалуйста, довнесу кое-что, — все суетилась Таня.

Люба стала ждать, пока Таня допечатает, что ей надо. Ничего не делала, просто смотрела, как руководительница напряженно щурилась в экран, и как беззвучно, как у рыбки, дергался ее маленький рот.

— Готово, — сказала Таня через пару минут. — Прости, пожалуйста. Со встречи на встречу. Даже в туалет, извини за подробность, отойти некогда.

— Понимаю, Танюш. Я вот сегодня с дизайнерами целый час спорила.

— Спорила? А что там такое?

— Ой, ну ты Ника знаешь же, он упертый. Я ему говорю: без «ё» никак, а он по-своему делает. Пихает свое «е» во все щели. Явный недотрах у парня, — Люба засмеялась словно над шалостью родного ребенка.

— А, понятно, — сказала Таня. — У меня вообще вопрос к тебе сверхважный. Времени мало, давай к нему сразу.

— Давай, дорогая.

— Хотим тебе команду дать.

— Только если в редакции. От тебя — ни ногой, — сказала довольная Люба.

— В редакции, конечно. Будет деление на методический, маркетинговый и дизайн отделы. Это работа с соответствующими дизайн-командами, понимаешь принцип, да? Мне и Диме кажется, что узкая специализация сыграет продакшену на руку.

— Круто, а про узкую специализацию: я давно так хотела. Говорила тебе, помнишь?

— Я тоже давно говорила, — обрубил ее Таня и добавила: — Так вот, я выдвинула тебя на дизайн-отдел, хоть ты у нас в основном с маркетингом сейчас работаешь. Ты не против?

— Ты что, я уже давно хочу дизайнерам перья повыдирать, — усмехнулась Люба. — А почему не новенькую? Она ж опытный продуктовой редактор. В «Фигме» шарит, в отличие от меня. Плюс опыт управления вроде есть.

«Вроде» сказала нарочно. Собеседовала Новенькую, знала, что управленческого опыта у той больше, чем у нее самой. А если совсем уж честно: только у Новенькой он и есть.

— Думала над ней, — сказала Таня, потерла блеклыми, будто бы мужскими пальцами, обветренные губы. — Но она всего пару недель работает, а ты человек свой, понимаешь наши процессы.

Люба кивнула. Улыбка приклеилась к лицу, разодрала его до ушей.

— А Новенькая пусть сначала под твоим началом поработает, подрастет. Потом будем думать, куда ее поставить. Кадры управленческие всегда нужны.

Люба была счастлива, одно тревожило: дерзкая уж больно эта Новенькая, строптивая; надо бы ее осадить, иначе слаженной команды не выйдет. И принялась за укрощение сразу: назначила с Новенькой внеочередной созвон на после обеда.

— Не знаю, как ты отнесешься к тому, что я сейчас скажу. Но у нас грядут изменения. Редакция поделится на команды, и Таня доверила мне руководство группой, которая будет работать с дизайнерами. Тебя определили в мою команду, чему я очень рада. А ты?

82

Новенькая шевельнула губами, но ничего не сказала. Было видно, что растерялась.

— Давай честно. Я и сама понимаю абсурдность ситуации. Ты человек опытный, я знаю, что у тебя была своя команда на прошлой работе, и, я надеюсь, мы договоримся, и я смогу однажды дорастить тебя до руководящей роли в этой компании. Ты согласна?

— Согласна... Просто неожиданно это...

— Неожиданно, да. Я польщена доверием Тани, мне оказанным. Но, если по правде, я здесь давно, я знаю процессы от и до, так что это назначение вполне логично.

Новенькая кивнула, но как-то недостаточно уверенно. День Люба провела с поджатыми губами, отчего всем казалось, что Люба без конца улыбается, радуется новой должности. Но Люба злилась.

* * *

— 150 килограммов в тридцать три года! О чем вы только думаете, девушка? — сказал врач эндокринолог-нутрициолог, к которому Люба пришла по маминой наводке. — Надеюсь, вы рожать

не планируете? В вашем состоянии только выкидыша и ждать. Или уroda. Да что я говорю? И забеременеть-то не получится.

Мама зашла с Любой в кабинет и сидела теперь на лавке у входа, почтительно слушала. Лицо Любы заливалось краской, челюсти сжимались.

— Ой, да что вы говорите, она даже не замужем еще. И такая карьеристка, что, боюсь, внуков нам не видать, — мама говорила с врачом, как когда-то с Любиной классной: тот же заискивающий тон.

— Вам про внуков еще рано думать. Тут как бы не окочуриться, — зло усмехнулся врач и обратился к Любе: — Расскажите, что кушаете.

Вчера Люба снова сорвалась, заглотила два бургера. Но не говорить же об этом врачу. Ее инстинкт самосохранения, в отличие от ног, еще был полнокровен. Наврала, конечно, растиражировала пару-тройку своих здоровых приемов пищи на всю жизнь: да, она всегда так ест! а почему толстеет? так кто ж знает?

— Врете, Любовь. Так дело не пойдет, — сказал врач и, покопавшись в столе, достал несколько листков, протянул ей. — Вот ваша новая диета, прошу отнестись серьезно, всё соблюдать. И перестаньте врать, или я вести вас не стану. Это надо вам, а не мне.

Люба оставила на ресепшене шесть тысяч рублей, вышла из медицинского центра, едва сдерживаясь, чтобы не расплакаться, чтобы не привлекать слезами внимание к себе. Достаточно и того внимания, что привлекает ее тело всякий раз, когда она появляется на людях.

По пути мама выпытывала Любу про срывы и отчитывала. Домой Люба вернулась уставшая. Прошла в кухню, к холодильнику и магнитом прижала измятые, влажноватые от потных ладоней листы с диетой. Сделала себе бутерброд из батона, масла и сыра. Сидела на кухне и жевала, глядя в одну точку. Потом догналась парой котлет. Полегчало.

* * *

Нравилось Новенькой или нет, но в команду к Любе ее всё же определили. Таня обещала поговорить с Новенькой, разрешить их с Любой недопонимание, но дел и встреч было так много, что до нее она так и не дошла.

Противостояние же Любы и Новенькой продолжалось. На встречах с дизайнерами, куда Люба ходила как тимлид для контроля ситуации, Новенькая постоянно выражала идеи, не согласованные с Любой, спорила; хотела доказать, что не Люба ей должна руководить, а она Любой.

— Ты зачем споришь при всех? — сказала Люба ей после очередного созвона по проекту, где Новенькая при всех предложила тексты, которые Люба в глаза не видела. Люба, конечно же, начала на созвоне их комментировать, а Новенькая начала с ней спорить, как умалишенная.

— Я не спорила, Люб. Я просто презентовала свою работу дизайнерам.

— Надо было мне сначала презентовать. Чтобы мы потом не выглядели с тобой, как две дуры. Мы должны единым фронтом... Это репутация редакции, которую мы с Таней строили годами...

— Я же тебе скинула до встречи на ревью.

— У меня не сто рук и глаз, у меня и свои проекты есть. Никто эту нагрузку с меня не снимал.

— Но на встрече надо было уже что-то показать...

— Подождали бы, не развалились. И ты подождать могла бы. Есть такое понятие, как командная работа.

Новенькая помолчала, а потом выпалила:

— Опыта у меня достаточно, чтобы написать мелкие подписи к мобильным экранам. Или ты считаешь, что я с этим не справлюсь?

— Надо соблюдать процессы, принятые в компании.

— Я не видела документа с описанием таких процессов. Это всё, кажется, только у тебя в голове.

Люба ошарашенно взгляделась в Новенькую, обрезанную рамкой «Зума».

— Успокойся, пожалуйста, — сказала Люба дрожащим голосом, и от волнения даже камеру выключила. — Ты профессионал, и я нисколько с этим не спору. Просто я, как тимлид, отвечаю и за твое

развитие, и за честь нашей редакции. Я здесь, чтобы помочь тебе расти. Однажды ты будешь такой, как я, и сможешь...

— Люб, я не просила о помощи, — парировала Новенькая. — Мне кажется, ты излишне давишь.

Люба пискнула «ладно», попрощалась и понеслась в чат к Тане Началовой, попросила о созвоне. У Тани все было расписано до вечера, гугл-календарь был похож на витражную мозаику, этакое корпоративное искусство; но она нашла время после восьми, предложила созвониться под вино.

К этому времени Люба успела впихнуть в себя бургер, картошку фри и три куска торта из «Самоката», а еще порядком накрутиться. И, когда серое от усталости лицо Тани появилось на экране, Люба разразилась рыданиями.

Десять минут Таниных усердных утешений, и плач утих, оставались лишь редкие судорожные всхлипы. Любин сосед снизу, подмосковный хихикомори, наверняка подумал, что одинокая толстуха наконец-то наложила на себя руки, но проверять не приходил. Сто процентов обрадовался.

— Не могу я ей руководить, Танечка, — пожаловалась Люба и звучно сморкнулась в сложенную во много раз ленту туалетной бумаги.

— Что случилось? — ответила Таня Началова таким тоном, словно ей в очередной раз предложили по телефону банковские услуги.

— Это я, Танечка, случилась. Такая хреновая. Новенькая вечно с моими решениями не согласна. Я хреновый тимлид.

— Ты хороший руководитель, пусть и начинающий. Не драматизируй. Вам надо просто поговорить словами через рот, — сказала Таня и, покосившись куда-то вбок, шепнула: «Я сейчас».

— Не руководитель я, Тань, а корова жирная. Еще и глупая. Ни хрена я не знаю, как правильно сказать, как процессы устроить.

— Люба, ты у нас самый опытный редактор в команде, — Таня тяжело вздохнула и отпила вина из бокала. — Давай я с ней поговорю сама.

— Нет, Танечка, не надо. Будешь еще за меня разруливать проблемы с моими подчиненными, а я на что?

— Это хорошо, что хочешь сама. Руководство — это трудно. Научишься еще. Только давай, Люб, с терминологией определимся, что не вводит Новенькую в заблуждение. У нас структура-то горизонтальная. Новенькая — самостоятельный боец, а ты просто наставник для поддержки.

— Вот и она так говорит.

— И правильно говорит. Недели не прошло, а ты уже бьешься в истерику. Ты просто выгорела от гиперконтроля. Не бери лишнего. Где, вот, твое вино? Говорила же, с вином приходи.

— Танечка, я же и их тяну, и сама задачи редакторские фигачу. Их с меня никто не снимал же, — Люба, вытерев слезы, задумалась: — Да, кстати, забыла я про вино. Ревела, как тварь, весь вечер. Не до вина было.

86 — Так, — сказала деловито Таня, словно собрав в кулак последние, не истраченные за день силы, и возле нее возник мальчик лет шести; стеснительно улыбнулся, Люба улыбнулась ему в ответ, помахала. — Девять уже, — сказала Таня Любе. — Иди отдыхать, слышишь? Прямо закрой ноут и беги от стола. Съезди на дачу, майские же, погода какая хорошая. Увижу тебя в «Слаке», буду ругаться!

— Ладно, — протянула Люба голосом маленькой Любы.

Таня выключилась, а Люба всмотрелась в маленькое зеркальце возле ноутбука. Ее лицо уже не помещалось в зеркальный кругляшок, но она и не знала, как по-другому, стянула мокрые пряди на затылке, завязала. Потом нашла на рабочем столе игру «Тропико 6» и погрузилась в ту жизнь, где все у нее, пусть под переменным, но контролем.

* * *

— Алё, Алеша! Ты на дачу-то едешь? — прокричал в трубку отец субботним утром и, не дожидаясь ответа, прибавил: — Давай, короче, собирайся. Матери на огороде поможешь.

Люба впервые собрала на дачу собственный контейнер с едой. Заказала в «Самокате» всякие полезности. Положила зернистый сыр, порезала помидорину, огурцы, веточку петрушки и прикрыла

цельнозерновым хлебцем. После этого захотелось накрасить губы помадой. Ну и пусть, что на дачу.

Мама поднялась, чтобы помочь Любе собраться. Пока мама перетаскивала сумки в коридор, Люба зашла в туалет переодеться, при матери оголяться не хотелось.

— Что я там не видела, Люба? — недовольно буркнула она. — Ты же мой ребенок. Плоть от плоти.

Люба ничего не ответила, переделась и вышла из ванной в заляпанной бордовой футболке отца и в спортивных штанах бабушки. Сунула ноги в старые кроссовки для дачи, надела панамку, тоже в каких-то угольных пятнах, но помаду не стерла.

На даче родители наварили пятилитровую кастрюлю картошки, накидали туда шматов сливочного масла. После огородных дел сели обедать в единственной комнате дачного домика-скворечника, в которой, кроме стола и стульев, были только всякие инструменты: грабли, лопаты стояли по углам.

Мама смотрела, как Люба ест, так, словно в цирке номер показывали. Щелочки глаз над дряблыми щеками посмеивались. Шея стекла в плечи и мягкая, в мелкую морщинку грудь ходила ходуном от смеха.

— Ты только погляди на нее, — сказала она мужу.

Отец Любы накладывал картошку, с ложки лилось масло. Он весело покосился на дочь. Люба быстро, точно делала что-то незаконное, закинула в себя ложку творога.

— Кто ей сказал, что здоровый человек так питаться должен? — сказала мама и достала тарелку с нарезкой «Московской» и банку с солеными огурцами. — Выделяется просто.

— Так доктор при тебе же сказал, — возмутилась Люба.

— Доктор не так сказал. Он сказал: на ночь не нажираться. И фастфуд не есть. Забыла уже? — ответила мать. — Надо домашнее есть, Люба. Картошка с нашего огорода, вот. А ты всё покупным травишься.

— Отстань от нее, пусть дальше печень травит, — посмеялся отец, и из его рта, с чем-то белым, мокрым в уголке, вывалился кусок

картошки. — У нас в роду худых баб не было, а мужики, как я: все как на подбор, поджарые.

— Леонид ди Каприо, — посмеялась мать с набитым ртом.

— Хошь схуднуть? — обратился к Любе отец серьезно, и Люба даже подняла голову от контейнера, чтобы послушать его. — У матери возьми из шкафа... Вон того... Над плитой... Эту, как ее? Летящую ласточку. Мать от нее дрищет в три ручья, а толку ноль!

Раздался смех, потом кашель и громкое перхание. Мать посмотрела сурово на отца, но Люба заметила, что колбасу она больше не брала.

* * *

Люба продолжала бегать к Тане с жалобами на Новенькую. Тане всегда удавалось вернуть Любу в боеспособное состояние. Но в последний раз истерика была страшная: Люба рассказала Тане, что не хочет жить. Сквозь дикий плач пробубнила, что уйдет из компании, чтобы не обременять собой Таню и Новенькую и всех вокруг.

88

Таня отправила Любу в отдел Заботы на встречу с корпоративным психологом. Чуть позже Люба заметила, что из ее календаря пропали регулярные встречи с Таней. Таня, судя по всему, больше не хотела созваниваться с ней.

Люба всё понимала. Таня столкнулась с той мерзостью, в которой Люба варится каждый день, с ее мыслемешалкой. И Люба стала ей так же противна, как сама себе. Запланировав покончить с собой на этой работе, Люба решила отправиться к тому, кто еще не успел от нее отвернуться, к Новенькой. Надо было сообщить ей, что через пару недель она, Люба, уходит и — вот, пожалуйста! — освобождает Новенькой руководство.

— Тут такое дело. Я не справилась с руководством и ухожу, — сказала ей Люба.

— Как так? Почему? — Новенькая почему-то не обрадовалась, или Люба не смогла распознать эту радость в ее мимике. Новенькая хитра, у нее высокий эмоциональный интеллект, не зря в последнее время она очаровала и Таню. На общих встречах Люба стала замечать между ними особый контакт, какие-то флюиды. Новая красивая фаворитка обскакала старую жирную.

— Я решила, что не могу быть для тебя хорошим руководителем. Я хотела эту роль, но я ее не тяну.

— Люб, ты что, из-за меня уходишь? — Новенькая словно смутилась. — Я не думала... Споры — это просто обсуждения... По работе... Я не знала, что тебе это так обидно.

— Не из-за тебя, — ответила Люба и отвернулась.

— А почему?

Люба нарочно не смотрела в экран, боялась разрыдаться, тогда Новенькая точно решит, что она слабачка.

— Люб, что-то случилось? Извини, что расспрашиваю, но, мне кажется, ты не хочешь уходить. Ты из-за меня?

Люба повернулась. Казалось, лицо вот-вот лопнет от напряжения. Она посмотрела на Новенькую, на ее тонко выделанное, бледное, безжизненное лицо, в котором на самом деле было с избытком твердости и жизни. Она, такая маленькая с виду, откуда-то брала силы спорить с Любой, с дизайнерами, с Таней, за что Таня, наверное, и зауважала ее. За эту ее непонятную силу — говорить «нет», стоять на своем — Люба ее и ненавидела.

89

В этот момент на Новенькой сошлись все силы, действующие на Любу. Лишь она одна ей раз за разом перечила, сопротивлялась, доказывала свое, а Люба всё гнулась и гнулась в дугу и от невозможности гнуться дальше, теперь отступала. Вот Новенькая наносила последний удар: Люба должна была уйти, совсем исчезнуть.

— Ты из-за меня? — повторила Новенькая.

И Люба выкрикнула так, что в экран прыснули слюни:

— Да, из-за тебя. Из-за тебя, блин! Да, я не справилась. Ты сильнее. Ты сильнее меня. Вон, и Таня тебя уже любит, а меня выкинула на хрен. Потому что я обуза, потому что я никчемная.

Люба кричала в экран, глотая слезы. Новенькая оторопела.

— Да! Я тебя ненавижу! — Люба выкрикнула на последнем издыхании и спрятала лицо в ладони. — Всё, пока!

— Погоди, — сказала Новенькая. — Всё это я уже давно поняла.

— Ты про что? — пробубнила Люба, спрятавшись в ладони.

— Что ты меня ненавидишь, что я тебя триггерю. Но... Если честно... Не вижу, чтобы я была сильнее тебя. Я бы вот так, как ты, не смогла бы выложить все карты. Ты смелая.

Люба начала утирать слезы, недоверчиво поглядывая на экран с Новенькой, которая, казалось, тоже сейчас заплачет, такие у нее были встревоженные глаза.

— Это просто накипело, а так я по жизни терпила, — сказала Люба.

— Я тоже.

— Да не надо, — отмахнулась Люба, вытирая под глазами, и потянулась за рулоном туалетной бумаги, который был всегда под рукой.

— Нет, правда.

90 — Это где ты терпила? — усмехнулась Люба. — Видела я, как ты макеты на встречах разносишь.

— Я три года жила с человеком, который меня избивал.

Люба уставилась в экран.

— Я никому не рассказывала. А тебе, раз уж на то пошло, скажу. Я ушла от него и теперь живу одна с сыном. Мы уехали из Брянска, но и там особо никому не были нужны. Теперь мы с Витафиком совсем одни, и мне важно пройти испытательный, я готова в любую команду, лишь бы у нас были деньги. Потому что никакой подушки у меня нет.

Что-то надломилось в Любе. Надломилось и развалилось на две части, а изнутри показалось горячее, розоватое, бескожное еще. Они проговорили с Новенькой полтора часа, под конец Люба решила всё же отказаться от руководства командой, но не уходит из компании насовсем.

— Получается, Лесь, это наша с тобой последняя встреча? — сказала Люба Новенькой с грустной улыбкой.

— Почему?

— Ну я же не буду твоим тимлидом. Значит, нам не положено личных встреч.

— Пусть будут. Я скажу Тане, что мне необходимо твое наставничество, опыт старичка, так сказать. Не думаю, что она откажет.

— Старичка — это верно, — усмехнулась Люба. — Тридцать три года тетке.

— Мне тоже тридцать три, — сказала Новенькая. — Но я в старенькие записываться не собираюсь и тебе не советую.

Люба смотрела на нее, не моргая.

* * *

С тех пор Люба и Леся встречались в «Зуме» каждую неделю. Их разговоры были совсем не про редактуру и всегда выходили за рамки тайминга. Встречи возникали стихийно: во внерабочее время, вечерами в будние и по выходным. Вика, которая прежде едва находила время на общение с Любой, теперь заявила, что подруга ее кинула. И всякий раз норовила опустить Лесю: всё, что про нее рассказывала Люба, Вика, так или иначе, обсмеивала. Постепенно Вика исчезла, Люба тоже перестала ей писать.

91

Плакать по ночам Люба продолжала, но теперь слезы, по Лесиной придумке, сопровождала написанием стихов. В темноте загорался экран телефона, и происходила магия: возникали рифмы, складывались в новые смыслы. Это из душевного песка упрямо прорастала новая жизнь. Кое-что Люба потом читала Лесе, и та однажды предложила Любе отправить стихи в литературный журнал. Люба отнекивалась, но письма всё же составила. Похудела килограмма на два, пока перечитывала перед отправкой.

К удивлению, Любины стихи журнал принял. Два стихотворения из пяти, но и это она сочла за победу. Люба стала писать чаще и первое время плакала тоже чаще, даже непонятно, зачем. Потом как отрезало. Теперь грусть жила не внутри нее, а где-то рядом, по-дружески оперевшись на Любино плечо.

Люба попрощалась с маминим эндокринологом. И нашла того, кому не боялась сказать про пищевые срывы. Врач включила срывы в терапию. Сказала: не урезай калораж и не вини себя, просто продолжай соблюдать диету. Срывов стало меньше.

Гречка, овсянка, курица тушеная, сыр, помидоры с огурцом, зерненный творог, горстка миндаля.

Горстка миндаля, зерненный творог, огурцы с помидорами, сыр, курица тушеная, овсянка, гречка.

С новым врачом за месяц ушли двадцать пять килограммов. Прогресс воодушевлял. Люба научилась обращаться со специями, и ее блюда все больше походили на картины. Она и впрямь художественно собирала себе завтрак, обед и ужин: белок — облако на тарелке застыло, желток — солнце из-за облака светит, тянется к солнцу сочная зелень, песочек нежно-бежевого киноа лежит и пять редких морских ракушек на нем, пять хрустящих черничин.

Мама отказалась водить Любу не к своему врачу, и вообще обиделась. Люба перестала ездить с родителями на дачу. Из-за возникшей дистанции и тишины между ними внезапно ушли еще двадцать пять килограммов Любы.

92 На рабочей встрече заметили, что Люба здорово похудела. Было приятно, но еще приятнее стало выходить самой на прогулку, уверенно идти, не бояться завалиться на пустом месте. Теперь Люба гуляла при любой возможности. Заканчивала работу пораньше — и на улицу, пока не стемнело — с Марьиной Рощи пешком до центра Москвы.

Через год Любе стало на 100 килограмм легче. И когда в ногах появилась пружинистость и легкость, когда сошли отеки и задышалось вольно, от нее внезапно ушла Леся.

II

Несмотря на то, что Люба отказалась от позиции тимлида в продуктовой редакции в пользу Леси, на это место Таня посадила другую сотрудницу, тоже из стареньких.

Леся подходила лучше: она всё еще была самым опытным продуктовым редактором в команде, пусть и опыт ее был приобретен не в этой компании, но для Тани лояльность имела принципиальное значение. Она бы никому не призналась, но при всей своей прогрессивности сама следовала принципу назначения на должности по выслуге лет.

Леся нашла другую работу. В ночь того дня, когда она написала заявление об уходе, Любе приснился сон.

Это был балкон в каком-то дворце: широкий, с периллами в виде колонн из белого мрамора. Спиной к Любе стоял высокий, широкоплечий мужчина. Стоял, широко расставив ноги и выкатив грудь. Волосы у него были темные, топорщились сверху. Люба подошла к нему сзади. И шла она, почему-то опираясь на трость.

Поравнявшись с незнакомцем, она, вся скукоженная, в три раза, кажется, его ниже, молча стала смотреть перед собой: с балкона, открывался вид на южный город. Светлые домики с песочного цвета крышами. Испания? Италия?

Мужчина сказал:

— Что будет с нами теперь?

— А что будет? — ответила Люба. — У меня теперь есть вот это.

Она кивнула на трость, на которую опиралась обеими руками. Вдруг трость разломалась с треском, и Люба упала, но не на пол, а полетела прямо с балкона. Потом сильная боль: крыша какого-то дома рвет своим ребром Любу на две части.

И Люба в ужасе просыпается.

Перед глазами снова родная стена цвета гусяного помета и блеклые виноградные лозы, никогда не приносящие урожай. Не успев обдумать странный сон, она вдруг почувствовала влагу между ног. Неужели описалась? Люба провела там пальцами и, вытащив руку из-под одеяла, поняла: месячные вернулись.

В растерянности ринулась в туалет, пытаясь на ходу сообразить, вспомнить, все ли прокладки она в свое время выкинула.

* * *

И, как зверь, почуявший кровь, на горизонте появился Ваня.

«Прив. Ну что, как насчет сегодня?», — написал.

Где-то возле кишечника поднялась привычная волна радости. Но тут Люба заколебалась.

«Сегодня не могу, извини», — ответила, злясь на себя.

«Во дела. А завтра?», — ответил он тут же, словно не дочитал верхнее сообщение.

«И завтра, — ответила Люба, поджала губы от досады, решила сразу как-то объясниться. — Дела у меня. По работе».

Любе подумалось, что работа для него прозвучит более правдоподобно, но чутье Вани в очередной раз показывало чудеса и обличало даже то, что Люба и сама еще не осознала.

«Ты так бросаешь меня, типа?»

«Нет, правда работа, Вань. Давай через неделю. Я тебе сама напишу», — ответила Люба и, перечитав, с досадой обнаружила, что случайно надерзила. Хотела отредактировать сообщение, но Ваня, видимо, все прочитал, так как написал следующее:

«Ты мне напишешь? Да кем ты себя возомнила, блин? У тебя что там, полк стоит под окном? Есть из кого выбрать?» И смеющийся смайлик.

94

Люба отбросила телефон на диван, сказала себе: «Буду умнее, не опущусь до его уровня», но тут же снова схватила телефон и написала:

«А ты зачем прибежал к такой, никому не нужной? Может, у самого не из кого выбрать?»

Люба поняла, что этим выпадом она сломала весь каркас их общения, и назад пути уже нет. Ваня ничего не ответил, но Люба на всякий случай его заблокировала.

Ощущение было странное, смешанное: с одной стороны, она ликовала, что защитила себя, хотелось танцевать, хотелось двигаться и жить; с другой стороны, подкатывал к горлу страх: а имела ли она на это право?

Люба встала перед зеркалом и оглядела себя с ног до головы. После похудения тело ее обвисло, и как будто стало хуже, чем было. Если раньше она ходила тяжело, как бабка, то теперь еще и выглядела, как она. Фартук живота испещрили царапины-растяжки. Груды висели шторами.

Лифчик за год стал Любе нестерпимо велик, а купить новый, размером поменьше, было и страшно, и как бы незачем. Люба еще помнила, как покупала свой последний в магазине «Уголок Татьяны».

Продавщица принесла ей типично бабскую модельку, а Любе хотелось чего-то поинтереснее, чтобы перед Ваней покрасоваться. Она депрессивно осмотрела бордовую тряпку с золотистой вышивкой, как на ковре, и осторожно зыркнула на другие вешалки: что еще у вас есть?

— Иди уже примерь, — ухмыльнулась мать. — С такими бидонами не до выбора, лишь бы держал. Стяни там хорошенько, а то спина заболит, горбиться будешь.

Морщась от брезгливости, Люба надела тряпку, которую до нее примеряли не раз (лифчик крепко пах потом). Мать помогала, стянула лямки покрепче и застегнула. Лямки врезались в тело, и Люба увидела в зеркале, как жир обтекает сверху и снизу пережатые бока. Больно, но ничего: разносится.

Люба с мамой одевали себя в этом «Уголке» с головы до пят, так как найти в других магазинах вещи с тремя, четырьмя и пятью иксами было сложно. Но добраться до «Уголка Татьяны» тоже было нелегко: ларек в самом конце рынка, мимо мыльно-рыльного и потом направо, пройти сухофрукты, налево и там уже до конца, сто пятьдесят третий вагончик. Вот в какой медвежий угол запряталась жирная Татьяна от мира.

95

Люба теперь носит икс-эль, но пойти в другой магазин всё равно страшно. Она сто раз проигрывала себе это. Как презрительно или, что еще хуже, иронично посмотрят на нее нормальные люди: толстуха возжелала быть модной, а схуднуть забыла. Ха-ха!

Отражение себя похудевшей уверенности почему-то не прибавило, а столько было надежд! Казалось, все беды в жире. Люба повторила себе слова Вани, которые шли внахлест с тем, что говорила ей мама:

— Старая ты уже, не пыжься.

Теперь не жирная, теперь всё дело было в старости. Разве не видно, что кожа вместе с жиром испустила, казалось, последний дух? А вот в «Тиндере» у всех гладкие, упругие тела. Ни одного лишнего сантиметра кожи, ни складочки.

Люба злилась на себя, потом перекинулась на неразборчивых мужиков из «Тиндера» и их продажных бездуховных подружек, а потом пузырь злости, созрев, лопнул. И Люба стала злиться на маму, на Ваню, на Вику, даже на Лесю. Как она могла ее, Любу, бросить и начать устраивать свою жизнь в другой компании? А как же дружба? И почему она больше не пишет?

Люба не могла спросить об этом Лесе прямо. Леся наверняка нашла бы такие ответы, что Любе стало бы стыдно. Поэтому Люба надела толстовку, штаны, затужила их посильнее. Всё теперь было ей велико и сваливалось. Накинула пуховик и вышла на улицу. Она шла так быстро и яростно, словно наступала на врагов. На прошлую жизнь, на рамки, в которых жила, на людей, которым через силу улыбалась и которых слушалась. На себя за свою злость. Через полчаса появилась одышка, проступил пот, но Люба не сбавляла темп. Она решила выходить себя до последней капли.

Сначала просто шла, ругаясь с собой, ничего не замечая, потом вокруг стала проступать молодая зелень на деревьях, первая трава за бордюрами, слишком светлая, не набравшая еще цвета, незнакомые здания, мальчишка на велосипеде, щурящийся на солнце и внезапно улыбнувшийся Любе. словно отпустить начало...

96

Люба теперь не неслась, а летела по дороге, а потом и вовсе перешла на прогулочный шаг. Наконец, расслышала музыку — всё это время она играла в ее наушниках — но раньше ее заглушали внутренние диалоги, дознания, казни.

Ветер сдул волосы назад. Люба сначала перепугалась, что забыла убрать их в хвост, а потом порадовалась новому чувству. Легкость в корнях волос передалась всему остальному телу, стоило ее осознанно заметить. Так бывало после стихов, но теперь не нужен был ей стихотворный сплин. Отпустило без него.

Люба ходила гулять каждый день, утром по району, а после работы подальше, к центру. Ради прогулки заканчивала в пять и дорабатывала еще час перед сном (но, по правде говоря, не всегда). Прогулка приносила не только душевный покой, но и пользу. Ноги укрепились, суставы словно смазались от движения, расходились, и одышка стала появляться реже. А на работе, на удивление ничего без ее активного участия не развалилось. Даже наоборот: проекты Любе попадались всё более легкие. Получалось меньше работы при той же зарплате.

Таня Началова, казалось, заметила, что Люба уже не так вовлечена в работу, как раньше, но против не была. Слишком много было Любы раньше, всем стало легче, когда часть Любы занялась чем-то еще.

Работа делалась. Стихи писались. Прогулки под музыку успокаивали.

Рис, киноа, яйца вареные, индейка запеченная, творог со сметаной, кабачок, редиска.

Редиска, кабачок, сметана с творогом, индейка запеченная, яйца вареные, киноа, рис.

Килограммы таяли. Врач удивлялся и просил не перенапрягаться, если вдруг Люба взялась истязать себя спортом. Во всем нужна мера и постепенность. Люба же гордилась тем, что добилась такого результата без самоистязания. Но чего-то в ее радости все же не хватало. Этим элементом была Леся. Камень, с которого началось возведение новой Любы. Так ей, по крайней мере, тогда казалось.

97

Люба иногда писала ей в телеграме, спрашивала, как дела, но работа в разных компаниях их всё сильнее разводила, будто ведомая всеобщим космическим расширением.

Леся появлялась теперь в жизни Любы спорадически: больно кололи ее неожиданные лайки и реакции-сердечки. Лучше бы вообще их не было, лайков этих, так честнее.

«Собираю стихи для первого сборника. Я медленно пишу, Лесь. Я ж не поэт в прямом смысле слова. Я так, под настроение. А у тебя как на новом месте? Как команда?»

Классно, что дружные. Тебе всегда везет на людей, потому что ты самая такая. Как солнышко. Без тебя у нас совсем грустно. Старые времена часто теперь вспоминаю. Мы утянули пояса, зарплату не повышают. Но я ж одна, мне хватает.

Ой, да брось, какие мужики. Они вообще где-то еще водятся? Я всему этому отказала. Хожу много, пишу, работу работаю. Хотелось бы почаще общаться с тобой. Ты когда в Москву собираешься?»

Но Леся в Москву не собиралась. Она, оказывается, вышла замуж за какого-то бывшего одногруппника. Тихо-мирно. Планирует работать с Бали. Можно было бы общаться онлайн, Бали тому не помеха, но Лесе теперь было и не до этого.

Люба больше не дулась, только хранила тоску по тому времени, когда они вечерами болтали перед ноутбуками. Удивительно: как можно подружиться с тем, кого ты в реальной жизни не видел? С тем, кто, может, выше тебя головы на три. С тем, у кого, может, даже ног нет. А чем докажешь, что есть? Разве что фотками в Инстаграме².

«Спасибо, что пнула в другую жизнь. Без тебя не было бы меня. И мне кажется, что и сейчас нет. Пиши, не забывай. Мне это важно», — написала Люба, и Леся поставила сердечко на ее сообщение, а на следующий день ответила:

«Люба, это всё ты. Это ты себя пнула. Я лишь стала твоим инструментом и очень этому рада. Ты можешь сама, вот правда».

98 Это всё ты. Ты можешь сама. Люба грустно улыбнулась в экран, вытерла неизвестно откуда взявшуюся слезу и, любовно кивнув Лесе через расстояния, стала собираться на традиционную прогулку.

Я теперь могу сама. Могу. Могу? На этой волне захотелось отчебучить чего-нибудь, нащупать грани этих возможностей. Под песню Рианны Unstoppable Люба подобралась к большому «Эйч-энд-эму» и, дернув дверь, влетела в теплое модное пространство, в элитарный клуб.

Ходила между полок, трогала одежду, но только для виду, сама же заглядывала в глаза людям: как они относятся к ней, к толстухе из бабушкиной квартиры с окраины Москвы. Но никто не смотрел на нее, лица у всех были сосредоточенные, каждый вел сам с собой напряженный диалог.

Вот оно как! Люба растерялась. Она набрала одежды, той, что, кажется, вчера видела на девушках в «Тиндере», пошла в примерочную. Всё не то: еще один икс стал лишним, а она и не заметила. Люба вернула одежду, но другую, поменьше, брать не стала, продефилировала к выходу, и, оказавшись на крыльце, вдохнула свежесть майского вечера. Теперь за кофе и можно домой.

² Продукт компании Meta, признанной в России экстремистской.

В «Эйч-энд-эм» она вернулась через пару дней. Надевать старую одежду на восьмидесятипятикилограммовое тело — оказалось, как в простыню кутаться. Совсем стремно, и так дотянула до последнего. Купила новую, маленькую одежду, и нижнее белье еще: новые лифчики, нежные, кружавчатые. Грудь держат плохо, но так красиво, невозможно устоять. Даже просто постоять перед зеркалом в таких, и то будет достаточно. На сменку этим хрупким крохам (как сказала бы мама, ниткам) Люба взяла спортивный бюстгальтер, как раз для ходьбы.

Не утерпела и сделала в раздевалке пару фотографий для Вани, твердо решила разблокировать его и отправить. Придя домой, зажмурилась и правда отправила.

Ваня ответил минут через пятнадцать. Пытался, быть может, распознать фотошоп в новых Любиных очертаниях.

«Привет, не узнал тебя. Я, получается, прощен?» — написал.

«А ты просишь прощение?» — Любины глаза загорелись навстречу экрану, светящему в вечернем полумраке.

«Просил. Я писал тебе, потом понял, что ты заблокировала меня. Наверное, решила, что теперь я тебе не нужен».

«Прости».

«Нет, ты все правильно сделала. И ты молодец, вообще. Ты сильно изменилась. Стала настоящей красоткой».

Люба чуть не заплакала, внутри всё перевернулось, и на этом гребне душевной волны написала:

«Приезжай, если хочешь».

«Хочу очень. Боялся, что больше не позовешь».

Ваня впервые привез ей цветы. Настоящие розы. Дорогие цветы, и их много. Целый букет, совсем дорого.

Это был пик счастья, вершина всего сделанного Любой за последний год. И Люба отдалась победе полностью. Когда лежали потом, Ваня сначала долго рассматривал Любу, а потом, дотронувшись, пальцами до ее подбородка, сказал:

— Я думаю, знаешь, что... Давай встречаться?

— А как же?.. — Люба хотела сказать «твоя девушка», но осеклась.

— Я тебя люблю, Люб. Ты любовь. В прямом и переносном смысле. Хочу, чтобы ты стала моей Любовью.

— Но у тебя же есть кто-то. Вроде бы.

— Сейчас могу написать ей, что ухожу.

Люба села. На фоне окна чертился ее взлохмаченный силуэт, волосы отрасли ниже лопаток, хотя раньше и до плеч не отрасли, всё ломались. Пальцы на руках задрожали. Она знала ответ, но боялась сказать.

— Ну так что? — спросил Ваня.

— Не надо, — тихо произнесла.

— Но почему?

«Не ёкает больше. Я словно дошла туда, куда так мучительно ползла раньше. Мне казалось, что я тебя очень любила. Теперь сижу и думаю: и зачем мне это было нужно? Почему так страдала из-за тебя? Почему тряслась?»

«Не понимаю, о чем ты».

«Я и сама только сейчас поняла».

Она стала быстро одеваться, Ваня тоже подтянул с пола штаны. Оба молчали, а потом он ушел, хлопнув дверью. И Люба больше не блокировала его. Она откуда-то знала, что он больше не напишет.

* * *

Целая жизнь прошла с того момента, как Люба наняла некую Новенькую в редакцию «Игрошколы».

Леся родила второго ребенка от второго мужа, они совсем обжились на Бали и не собирались возвращаться, и Леся, кажется, увлеклась биографиями известных людей. Завела канал, писала интересные факты из чужих жизней, анализировала их. Люба ее

читала, но больше они не общались. Растворилась их связь, время ее изъело, но то, что было создано, жило и давало новые побег.

От Любиного фартука на животе, от второго подбородка на поллица, от отекающих голеней с выпирающими венами не осталось и следа.

Накануне тридцатилетия Люба почувствовала, что готова пройти еще дальше. Она обновила профиль в «Тиндере», добавила новые фотки и описание интересов. Она всё еще не была такой гладкой и подтянутой, как большинство девушек оттуда, но от этого больше не страдала.

Анастасия НАПРИЕНКО

Родилась в 1987 году в городе Куйбышев (ныне Самара). Филолог. Преподаватель русской и зарубежной литературы в академии для одаренных детей.



ПОТЬМЫ

— Потьмы.

— Нет, Потьма.

— Да нет же. Даже выражение такое есть: «в Потьмах»!

Галка щурится. Злится. Я знаю этот взгляд. Судорожно сглатываю чай. Противная приторная сладость липнет к горлу.

— Будешь со мной спорить?

Галка всегда и всё знает лучше меня. Я смотрю в окно. Черные линии деревьев и белые сугробов образуют крест. Мне хочется зачеркнуть им наш разговор, но Галка не унимается.

— Будешь?

— Нет.

Галка хмыкает.

— Интересно, какая у нас будет комната, — говорю я, чтобы сменить тему.

— Обычная, как во всех гостиницах.

Галка знает, что я никогда не была в гостинице, но делает вид, что не знает. Я могу совсем не смотреть на нее и всё-таки видеть сведенные брови, губы, сжатые в жирную блестящую точку. «Я права», говорят они без слов. Точка.

Я люблю Галку. Давно, еще в детстве, одним зимним вечером она показала мне поезда. Желтый свет фонарей полз по белому снегу, черные рельсы отчеркивали нас от дачного поселка...

— Куда мы пойдем завтра?

— Я собираюсь выспаться, потому что еду в Москву не бегать по музеям как провинциалка, а отдыхать. Хочешь, иди в Третьяковку. Или куда ты там еще собралась?

— Я думала, мы пойдем вместе.

Галка снова хмыкает, поднимается и выходит из купе. Я люблю Галку. В тот зимний вечер я промокла, и она отдала мне свою куртку, шикарную, розовую с радугой.

Поезд замедляется. Мимо бегут залитые желтым светом станции. Я пытаюсь рассмотреть двух девчонок, ждущих поезд, но он движется быстро, ничего не видно.

Галка возвращается, берет меня за плечо и тянет в коридор. Там висит расписание. Галка тыкает пальцем: «Потьма».

— Ты была права.

— Я всегда права.

С этим можно поспорить, но я не решаюсь.

Остановка. Галка не хочет выходить, а я влезаю в пуховик и выхожу на перрон. По дальним путям громыхает товарняк. В тот зимний вечер такой же состав долго летел мимо нас с Галкой. Я считаю вагоны: один, два, три... Загадываю: если четное, пойду в музей одна. Проводница кричит за моей спиной, я сбиваюсь.

В купе Галка смотрит в телефоне сериал, смеется. Я смотрю в окно. Движущиеся деревья напоминают бесконечную траурную ленту. Я закрываю глаза, чтобы лучше вспомнить тот зимний вечер, когда мы с Галкой, замерзшие, пили у печки горячий чай с шоколадом. Никогда больше я не ела такого вкусного шоколада.

Галка бросает телефон на стол.

— Надоело всё! Надо было лететь самолетом.

Я молчу.

— Всё из-за тебя. Вечно с тобой одни проблемы!

Я молчу, потому что люблю Галку. Она — это печка, шоколад, поезда, даже когда злится на меня. В универе мне достается почти каждый день. Но бывают дни совсем как тот, зимний.

— Я устала быть тебе нянькой, — вздыхает Галка. — Это всё мама. «Она же бедненькая». А я должна мучиться.

В вагоне зажигается свет. Теперь в окне я вижу себя, бедненькую.

— Молчишь? Как меня бесит, что ты молчишь! Молчишь и смотришь своими глазами! И зачем я с тобой поехала? Только из-за мамы. Это она меня уговорила. Пела мне опять про то, как твой отец стал моим донором. А я этого даже не помню! Мне-то какое дело? Какое значение это имеет сейчас?

Поезд качает. Я качаюсь вместе с ним и слушаю перестук. Если сосредоточиться, то можно слышать только его.

Галка выпивает чай, отправляет в рот оливку из банки. Чтобы не отстать, я окунаю в чай губы.

104

— Эх ты, малохольная! — еще раз вздыхает Галка.

Я чувствую, как ее злость стихает. Еще не всё потеряно. Будут мирные дни, совместные завтраки, походы по музеям и магазинам. Мама дала мне немного денег.

— Помнишь, как мы ходили смотреть поезда? — говорю я.

— Какие поезда?

— У вас на даче. Мы валялись в снегу, я промокла, а ты дала мне свою куртку, и мы пошли на станцию смотреть поезда.

— А-а-а-а. Помню куртку — моя любимая, новая. Мама заставила меня надеть старую, дачную. «Гостям всё самое лучшее». А какие вы гости? Мама вас приглашала, потому что считала, что мы вам чем-то обязаны. До сих пор так считает. Я тогда хотела пойти к своим друзьям, а мне навязали тебя. Не вести же такую к ним! Вот и потащила в другую сторону.

Голос Галки заглушает перестук колес. Я его больше не слышу. В окне я всё еще вижу себя и потому закрываю глаза.

— Зачем ты это говоришь?

— А что я такого сказала? Обиделась?

Я открываю глаза, смотрю на нее. До чего же она, оказывается, похожа на белку. Я улыбаюсь. Галка смеется, что-то говорит про своих московских друзей, про то, как папа устроит ее на работу после каникул. Слова долетают до меня с опозданием, а иногда я совсем их не слышу. Мы сидим в тесном купе друг напротив друга, между нами — рельсы, по которым несется бесконечный товарняк. Галка говорит, а я считаю вагоны: один, два, три...

Ночью мне не спится. Я долго ворочаюсь, смотрю на чередование света и темноты в окне. Наконец понимаю, что нужно сделать. Я тихо встаю и, оглядываясь на Галку, спускаю с полки сумку. В темноте долго ищу то, что мне нужно. Галка всхрапывает, но не просыпается. Я выхожу в коридор. Фонарик в телефоне высвечивает расписание. Я крепко сжимаю карандаш для глаз и вывожу поверх надписи: «Потьмы».



Иллюстрация: Анна Боронина

Родилась и до двадцати лет жила на полуострове Камчатка, потом переехала в Москву. Училась лит. мастерству в Creative Writing School и в мастерской Евгения Бабушкина. Люблю миллениальскую прозу, особенно русскоязычную.



Дарья КАРГИНА

107

О ЛЮБВИ И ШУБЕ

Я стояла на платформе в ожидании последней вечерней электрички и курила, расстегнув и скинув с плеч полушубок, чтобы влажный мех не впитал в себя дым сигарет. Мне нравилось курить не взятяг — тогда дым почти не заполнял легкие, а сразу поднимался вверх, в голову, окутывал ее изнутри, и мир переставал быть таким контрастным, смягчался, растворял меня в себе. Нельзя не курить, если это помогает выстоять перед реальностью, ослабить ее жесткую хватку, отойти на полшажочка от линии, за которую запрещается заступать. Рак, может, никогда и не случится, а если случится, то точно не раньше, чем накроет волной липкой паники, отступающей от простого алгоритма: щелчок зажигалки-вдох-выдох.

— Здесь нельзя курить.

Женщина в стеганом пуховике-гусенице остановилась в метре от меня. Я пыталась разглядеть ее лицо под блеклым матовым светом фонаря, но оно расплывалось, черты не складывались в картинку. В одной руке женщина держала большой ашановский пакет, из которого торчали палки-трубочки. Наверное, каркас для новогодней елки.

— Девушка, слышите? Тут вообще-то железнодорожная станция.

Хотелось спросить, почему она не пройдет мимо, чуть вперед или назад, ведь платформа не закольцована вокруг меня. Но когда тебе восемнадцать, сложно спорить с настоящими взрослыми, которые в два раза старше. По крайней мере, спорить так, чтобы не дрожал голос и не щипало глаза злыми слезами.

Поезд неспешно подъехал к станции. Я прошла в середину вагона и села у затертого окна. Вагон не отапливался, деревянные лавки ощущались ледяными через джинсы, холод полз вверх к ребрам и плечам. Меня мутило. Снаружи, параллельно электричке, летели ряды многоэтажных панелек, расчерченных окнами-огоньками, пустыни заснеженных промзон и линии бетонных серых заборов.

Я возвращалась в студенческое общежитие после первого в жизни свидания. Оно было заранее обозначено как свидание, а не просто встреча: Артем написал мне два дня назад, спросил про мои планы на субботний вечер и, получив ответ, что планов никаких не имеется, отправил «я буду рад пригласить тебя куда-нибудь, и да, это свидание».

108

Мы познакомились в начале ноября в курилке, функцию которой выполнял балкон между жилыми секциями на семнадцатом этаже. Я выскочила туда после телефонной ссоры с родителями и не сразу заметила Артема. Он стоял у стены в тапочках на босу ногу и больших наушниках. Видимо, выглядела я хреново, потому что через минуту Артем спустил наушники на шею и поинтересовался, не нужно ли меня угостить сигаретой. Я взяла его толстый мальборо, хотя в кармане пижамных штанов болталась одинокая тонкая сигарета винстон, которую мне дала соседка.

Оказалось, что Артем учится на юридическом и тоже первокурсник. Несмотря на это он, в отличие от меня, уже успел обзавестись компанией общежитских друзей, и его соседи и однокурсники составляли малую часть этой компании. Наверное, дело было в том, что Артем играл на гитаре — такие люди быстро становятся если не душой, то какой-то важной частью студенческого сообщества, их прибывает к таким же музыкантам, поэтам и прочим трубадурам, они устраивают гитарные посиделки на лавках во дворе студгородков (пока тепло) и в чужих комнатах (с приходом первых дождей).

У Артема была девушка — там, откуда он приехал, в Мурманске. Она не захотела поступать в московский вуз и после

школы осталась в родном городе. Они с Артемом учились в одном классе, встречались с четырнадцати лет, и Артем хотел сделать ей предложение на выпускном, но передумал, решив проверить отношения расстоянием. Теперь ему казалось, что эта проверка почти провалилась, потому что с каждым днем девушка все менее охотно отвечала на сообщения, по выходным отменяла их созвоны в зуме и, ссылаясь на сильную загрузку по учебе, рано ложилась спать. На слове «спать» Артем сделал пальцами кавычки в воздухе.

Тогда в курилке мы проболтали около часа, пока Артем окончательно не замерз и не предложил проводить меня до комнаты. Он взял мой номер и в тот же вечер написал в телеграм. Так начались наши долгие переписки. Артем кидал демоверсии своих песен, записанные на диктофон. Почти все они были грустными, про север, океан и одиночество. Он рассказывал про любимые русские рок-группы, о которых я раньше не слышала и которым он, очевидно, подражал. Пару раз звал меня на гитарники, и однажды я даже пришла, но не выдержала шумных незнакомых людей, пьющих водку с соком и невпопад подпевающих гитаристам, и ретировалась уже через час.

В декабре девушка Артема написала ему длинное прощальное сообщение и заблокировала его во всех соцсетях. Артем тогда напился с кем-то из друзей-музыкантов, а потом ушел в ночь на стройку, которая находилась в километре от общежития. Там он до рассвета пел свои грустные песни бомжам и узбекам-строителям. Я узнала об этом утром: он прислал мне несколько голосовых и следующие сутки не отвечал — видимо, спал или снова пил.

После этого наша переписка потеряла былое очарование. Артем не писал мне первым и на мои сообщения реагировал односложно. Я даже думала заявиться к нему в комнату или на гитарник (меня добавили в чат, где ребята выкладывали анонсы), но соседка Полина, третьекурсница и прощаренная в отношениях и флирте дама, назвала меня дурочкой и посоветовала не лезть к брошенному бухающему мужику.

Спустя две недели Артем впервые написал мне сам и позвал на свидание. Полина снова отметила мои невысокие умственные способности:

— Он тебя использует как... как затычку для своей душевной дырки. Напиши ему, что после расставания нужно минимум месяц приходиться в себя. Минимум! И это не значит «бухать», кстати.

Но я написала «да, конечно, пойдём. круто, что это свидание :)»

Собираться я начала с полудня, хотя мы договорились, что встретимся у входа в общежитие в четыре часа дня. Я трижды нанесла макияж и дважды его смыла. Перемерила небольшой ассортимент нарядов, перевезенных в Москву из Владивостока, и остановилась на стандартном наборе «джинсы-водолазка-широкий ремень». За неимением другой зимней верхней одежды надела норковый полушубок. Весь декабрь выдался теплым, и я ездила в университет в демисезонной короткой куртке, но в ночь перед запланированной встречей (свиданием!) внезапно шарахнули морозные минус десять, мокрая балконная плитка в курилке покрылась коркой льда, а изо рта шел пар даже без сигарет. Оглядев меня, Полина фыркнула:

— Ну, ты прям как взрослая. В шубе.

Шубу купили маме лет пять назад в летний сезон скидок на вещевом рынке в конце длинного ряда крытых павильонов с меховыми изделиями. На маму, невысокую и худую, было сложно подобрать верхнюю одежду, чтобы та не смотрелась как плащ-палатка.

110

Когда мы с папой почти отчаялись, потому что уже два часа таскались за мамой по рынку, и ей ничего не нравилось, нас спасла громкая продавщица с ежиком розовых волос. Она выудила из лежащих на полу полиэтиленовых пакетов короткий полушубок — серо-серебристый, переливающийся голубым под искусственным освещением.

— Гляньте, есть как раз на вас, модель автоледи.

В десятом классе я наконец доросла до мамы и на новогоднюю дискотеку выпросила эту автоледи. А когда после ЕГЭ и поступления собирала чемодан в Москву, мама принесла ее, завернутую в два пакета, и положила на кровать.

— Возьми, там ни у кого такой не будет.

И мама оказалась права. Выяснилось, что в Москве шубы носят только женщины за пятьдесят. Но тратить деньги, которые раз в месяц, первого числа, присылали родители, на новую зимнюю одежду я не решилась. Я и так с трудом укладывалась в лимит и бывало, что последнюю неделю жила на кофе, сигаретах и макаронах.

Мы с Артемом вместе поехали на электричке в Москву, и в пути он включал мне треки очередной локальной рок-группы, которая однажды точно станет популярной. Потом мы гуляли по заснеженному парку Горького, к вечеру вышли на Ленинский

проспект и пили настойки в баре на Шаболовской. После бара решили пойти до центра, но еще час целовались во дворе между сталинками.

В какой-то момент пошел снег. Первый настоящий снег в этом году. Он сыпался, словно мука из порванного пакета, прилипал к моей шубе, и я видела, как она превращается в мокрую жалкую шкурку. Артем водил руками по моей спине, и, подняв ладони к лицу, смеялся, потому что к ним приклеивалась серая шерсть. Мне было неловко, но больше из-за того, что целовался Артем неумело и слюняво, и я все время думала, что хочу обратно в комнату к Полине.

— Я впервые гуляю с девушкой в шубе, ты в ней похожа на этих, из Звездных войн. На эвоки!

Когда мы наконец дошли до метро, Артем вдруг сказал:

— Слушай, я не в общагу, я... э... к другу. Он тут недалеко живет, в конце оранжевой ветки. Ты же сама доедешь как-нибудь до станции? А то если я поеду тебя провожать, то это совсем поздно будет, друг спать ляжет.

Я кивнула, хотя после настоек у меня кружилась голова и ноги никак не могли согласоваться между собой и делать одинаковые шаги.

111

Мы зашли в разные поезда на Третьяковской – я ехала в центр, Артем на юг. К последней электричке в субботу всегда собирается много людей, поэтому мне не было страшно, пусть я еще никогда не возвращалась из Москвы так поздно одна.

— Девушка, конечная.

Бородатый мужичок в оранжевой рабочей куртке тронул меня за плечо, я проснулась и выбежала из электрички на станцию, откуда мне нужно было пойти до студгородка. В нос ударило запахом шаурмы из круглосуточного ларька. Указатели плыли перед глазами. От сырой шубы несло чем-то звериным. Я наклонилась и меня стошнило прямо под ноги. Женщина с ашановским пакетом, идущая за мной, резко отшатнулась назад.

— Ишь, еще и шубу нацепила.

Женя СКОБИНА

Родилась в Москве.
Люблю Кадзуо
Исигуро, Харуки
Мураками, Дэвида
Митчелла,
исландские саги и
собак.



112

ЛАВОВЫЙ КОРОЛЬ

* * *

И тогда дверь закрылась в последний раз.

* * *

Мама лежала в чугунной ванной, курила и читала журнал. Струился дым, цеплялся за штукатурку и прятался в щелях.

Катрусь разглядывала трещины на кафеле, разводы и потертости: вот девочка, точно из мультфильма, с челкой, смотрит на цветок, вот пес бежит по полю, а в правом углу профиль зловещего человека — человека со злыми намерениями, это тот человек, про которого ей всегда говорила бабушка. Это он с ней заговорит, а она захочет ему довериться и напрасно.

Бабушка приезжала пропахшая электричками и вонючим сыром, который варила сама. Если бабушка заставляла Катрусь под присмотром чужого — для бабушки, но не для мамы — она устраивала допрос и дожидалась родителей, чтобы сделать выговор. Но перед тем она долго выпрашивала у Катрусь: касался ли ее кто неподобающим образом.

Катрусь опустила сидушку унитаза, вспенила мыло и сдула мелкие пузырьки на мать. Переливающиеся шары делали маму похожей на королеву фей. Две английские девочки — Элси Райт и Фрэнсис Гриффитс — жили на стыке эпох — рассказывала мать. Им нужно было подчиняться даже самым глупым правилам, но они фотографировали фей в лесу. На фотографиях феи были как живые: и пыльца, и платя, и даже крылья — настоящие. Было большой ошибкой приглашать газетчиков — сказала мать. Они выпустили материал: девочки создали фей при помощи отцовской аппаратуры. К счастью, фотографии с феями остались, а имена буквалистов — забылись. Нематериальные формы образуют ткань Вселенной. На вот, смотри.

Мама протянула Катрусь журнал, а Катрусь смотрела, как по длинной руке матери сбегает капли воды, и в этих каплях отражается перевернутые желтые лампочки.

Хаос — говорила мать — везде. Молекулы даже в самых твердых предметах — в вещах самого образцового порядка — движутся. В промежутке — в прорехе Зенона, трещине — разлом времени и пространства — небытие, место, которые нельзя помыслить, объективировать — это черная дыра, которая утягивает тех, кто отказывает познавать мир. А познавать мир — говорила мама — значит, любить. Тут мама брызгала на Катрусь водой и говорила: «Тут накурено, уходи!»

113

В тихий час извергался вулкан и надо было забраться под одеяло. Красная жидкость вздувалась и с бульканьем лопалась. Если попадала на кожу, нужно было схватиться за мочку уха и шипеть, как кошка. Катрусь знала, что, когда она проснется, лава застынет и на ней можно будет кататься, как на коньках, выписывая кренделя. На спину Катрусь надевала парашют и поэтому не падала. Если дети проваливаются в лаву — говорила мама — они становятся красными от кончика носа до пяток. Они попадают во власть лавового короля и всю жизнь проводят в лавовом королевстве.

Папа часто и по пустякам злился, но предпочитал не поднимать голос. Он как будто отстранялся от себя самого, то ли давая какому-то демону говорить, то ли давая вещать изначальной болванке — первовеществу, на которое и наматывалась личность. «Сократ, займись музыкой!» — так говорила ему мама.

* * *

Только что закрылась дверь — она всё еще ходила ходуном и створки никак не смыкались. Ноги кузнечика выворачивались назад, юбка на женщине бугрилась птичьей клеткой. Принцесса и насекомое исчезли на свету — в актовом зале было много окон.

Катрусь сидела в примерке и смотрела на бутерброд: в спешке его кто-то надкусил и бросил. Сыр с отпечатком зубов свалился, а масло украсило стол кляксой.

Катрусь взяла карандаш, нарисовала музыкальный ключ и полет галок: ДО-РЕ-МИ-ФА-СОЛЬ-ЛЯ-СИ. ФА и СОЛЬ ей нравились, это были фиолетовая и желтая пташки. МИ была розово-красной. ДО и РЕ — птицы серого и голубого цвета.

Катрусь спустилась в сад, спряталась под крышу и забралась в песочницу. На таких площадках — она по дороге видела — играли дети по двадцать-тридцать человек. Ребята снаружи — две девочки и мальчик — держались за решетки и просовывали лица. Если просунешь голову — пройдет туловище — Катрусь выучила назубок. Она делала вид, что ребят нет.

Катрусь занимала кресло прямо напротив сцены — седьмой ряд, 14 место.

— Это моя мама, — говорила она.

114

На нее шикали. Катрусь переставала следить за сменой декораций — они были яркими, как никогда не бывали после спектакля — и раздваивалась (хорошо, если бы мама сидела рядом и как здорово, что мать на сцене).

* * *

Дверной замок щелкнул.

Кузнечик бросил весла и поднялся с плота. Чтобы поприветствовать отца, Катрусь родилась из морской пены. Она была голой, но в зубах стискивала пиратский нож — зубную щетку.

— Что за вид, девушка? — спросил папа. Кузнечик приподнял невидимый цилиндр.

— Меня ста-а-ашни-и-ило-о-о от арбуза! — ответила Катрусь и сопровождала слова выразительной пантомимой.

— Вам пора, — сказал отец кузнечику. — А ты вылезай.

— На коралловых рифах разбит корабль, сотня сундуков с золотыми дублонами ушли на дно морское, пассажиры, мокрые, как крысы... Я пират-спасатель!

— Вылезай, я сказал! — повторил отец.

Кузнечик поднял невидимый цилиндр еще раз, застегнул фрак той же материи и тихо прикрыл дверь. Папа отправил Катрусю в комнату и стал дожидаться маму. Он сидел за столом — так и не переодевшись — и разбираал часы — часы он унаследовал от прадеда. Тот передал их сыну — тот своему сыну и так они странствовали до тех пор, пока они не добрались до отца.

— Пап, а ты соберешь их обратно? — спросила выбравшаяся в туалет Катруся. Она имела виды на часы, но не знала точно, достанутся ли они ей. Катруся специально говорила писклявее, чтобы казаться меньше. Отец не ответил, и Катруся ускакала в комнату.

* * *

Катруся ткнула в большую, круглую, выпуклую кнопку телевизора. Постояла на левой ноге, отражаясь в мутном экране, и сделала звук тише, а потом еще тише. Она свернулась на кровати и смотрела, как мужчина разевает рот. Катруся казалось, что он обращается к ней. Когда он погрозил пальцем, она закрыла глаза и для верности — лицо руками. Катруся представляла, что лицо ее — смертная маска, что была и у Пушкина — она видела эту маску — гипсовый слепок умершего поэта. Пушкин очень мучился перед смертью: пуля застряла в животе. А поэт принимал гостей, тех, с кем хотел попрощаться — и мучился, вероятно, еще больше, потому что делал вид, что не больно (живот был твердый, как камень), а главное, что не страшно. Первые неоязычники на русской земле обязаны были разыгрывать сцену «Сократ и цикута» и подражать стойкам — так говорили в театре.

115

Катруся больше всего пугали глазные яблоки поэта. Рот приоткрыт, но замазан гипсом, все законопачено, а глазные яблоки выпирали, как будто вот-вот прорвут материю, и в живой мир ворвется неживое. Катруся чувствовала, как тело покрывается коркой, которая все больше отсоединяет ее от мира. Гипс с лица перетек на тело и превратился в мрамор саркофага. Катруся подумала, что она как пластиковая рука куклы — очень похожа на человеческую, но пальцы не разделены. Как будто мастер побоялся делать очевидное правдоподобие. А может, он вообще думал, что обязательно нужно сделать такую куклу, чтобы можно было отличить от человека. Галатея — она ведь еще неизвестно какой получится, а в камень или пластик обратно не закатаешь.

Часто ей снился сон, что в дверях толпятся игрушки — те, которыми она играла при свете дня. Огромные и властные, они звали ее за собой ночью. Лавовый король с красным строгим лицом делал приглашающий

жест, плащ его заворачивался, как пластилиновый. Она не могла пошевелиться и закрывала глаза, прикидываясь мертвой.

Катрუსь в мелочах вспоминала комнату. На столе придавленные оргстеклом лежали фотографии. Фотографии мамы: вот она в солнечных очках едет в машине на пассажирском сиденье. Вот отец на пляже с книгой. Много фотографий: мама и папа в Болгарии, кое-где попадается и Катрუსь, а на одной фотографии она обнаружила дохлого ослика. Катрუსь маленькая — голая или в плавках, иногда в маминых — больших, свадебных, бежевых туфлях без мысков на высоких каблуках. Называть их босоножками, говорила мама, значит, проявлять к ним недостаточно уважения. Катрუსь выходила в коридор в этих туфлях и тяжело переступала с ноги на ногу. Мама на таких порхала, как будто у нее не было веса, и ей не доставляло никаких неудобств вот так просто ходить целый день.

Фотографий, где она — Катрусь — была бы постарше, не встретишь. Фотоаппарат, специально купленный, чтобы запечатлеть жизнь, пылился под кроватью.

* * *

116

Дверь хлопала и возникала щель, будто моргал дракон. Через прорехи вываливался поролоновый свет. Катрусь услышала шаги. Тапочки отца были со стершимися задниками, он шаркал и спотыкался. Катрусь было сунулась в коридор, но отец втокнул ее обратно в комнату. Катрусь попятилась, прижимая руку к груди, месту, где он надавил и сделал больно. Опять раздался громкий хлопок, а потом снова образовалась щель. Катрусь припала к свету, как к волшебному источнику, и увидела серебристую полосу защитного костюма медика. Катрусь смотрела на пол и на лицо матери и на одной ноте повторяла: «МИ-МИ-МИ-МИ».

— Катрусь, — сказал отец. — Бабушка приедет через час. Посиди тихо.

Как только она подошла к двери, отец исчез. Желтый монстр двери смотрел на Катрусь единственным глазом. Катрусь вернулась в комнату на цыпочках, как будто под ногами плескалась лава. В комнату она не вошла, а впрыгнула. Но прежде сняла со спины парашют и бросила его в жерло вулкана.

Контакты:

Прием рукописей: nate.lit@mail.ru

Сотрудничество: nate.lit.collab@mail.ru

Сайт: <https://natelit.ru/>

Мы в социальных сетях:

[https://t.me/NATE lit](https://t.me/NATE_lit)

Boosty: <https://boosty.to/glavvred>

Поддержать проект: <https://pay.cloudtips.ru/p/39896291>

